

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

ISSN 0131-6044
9 770131 604002

РОМАН №12 ГАЗЕТА

Александр Леонидов / Ключ от Ничего





В поисках света

Эта книга возникала у меня на глазах. И выростала она странным образом — не из корней, не из ствола, а словно бы из ничего, из листиков и веточек, из кроны — сверху вниз. Потом и ствол нарисовался и укоренился — всё сошлось в стройной архитектуре проявленного замысла, где уже о случайности не может быть речи.

Дело ещё в том, что некоторые свои литературные листики и веточки Пряхин Георгий Владимирович присылал мне по электронной почте — по мере их появления. Обычные писатели мысли и впечатления ревниво складывают в копилку, чтобы потом наконец, когда ситуация созреет, угнездиться у творческой лампы.

Пряхин говорит, что долго вытравливал из себя журналиста, к счастью, дело это не довёл до конца — недаром своей рукой вывел вслед за заглавием книги: «по горячим следам». Реакция на события у него прежняя — репортёрская. Вернее, не на события, не хочется упрощать, скорее — на температуру в социуме. Россия под его пером — как ледокол, который то взламывает лёд, то вмерзает в него. Нас сопровождают разочарования, тревоги, фантомные боли по утраченной империи... Это взгляд уже не только журналиста, но человека, всерьёз побывавшего во власти, работавшего с первыми лицами государства. И это ещё одно измерение книги, где авторское «я» существует почти в космическом диапазоне. Тут и ностальгический экскурс в собственное послевоенное детство, и прямое попадание на той

же волне воспоминаний в свиту президента СССР, где Георгий Пряхин — свидетель и участник переговоров — официальных и кулуарных — с сильными мира сего.

Так и идут по страницам «Красной зоны» эти две жизни. Из сиротского полуголодного детства со всем, что к нему прилагается, писатель извлекает столько всепобеждающего света, тепла и красоты, что хочется плакать, а знание природы власти позволяет ему моделировать сюжеты и картины шекспировского звуча-



ния. Таковы в моём представлении, по крайней мере, два рассказа — о двух встречах: Сталина с матерью, «выписанной» им из Гори и доставленной в Кремль, и Курчатова с Берией.

Чего только мы не читали о войне, но глазами Екатерины Джугашвили увидели его впервые. И взгляд старой женщины, любящей, конечно, своего единственного сына — единственного, кто

выжил из её детей — словно стирает другие версии. Мы получаем подлинник — такое ощущение. Вот, казалось бы, что нужно матери? Вся жизнь в нужде, и всевластный сын дарит ей беломраморный дворец, а она сбегает в пристройку к прислуге. Её усаживают в наркомовский салон-вагон, а она на ближайшей остановке просит заселить его пассажирами с детьми и уходит в купе к проводникам. Сын смотрит со всех плакатов, лик будто высечен из камня, а ей больно смотреть — не он!

Я задумался над историей с натальным крестиком, который мать сыну повязала, а потом получила его назад — уже в поезде, уезжая домой. Неужели это правда? И мать облила медный крестик слезами... Дело, конечно, не в крестике, а в попытке вернуть «прежнего Сосо». Но его уже не было.

Эта история и следующая — «Академик Курчатов едет к Лаврентию Берии» — воспринимаются как историческая реконструкция, настолько убедительны и в основе своей достоверны.

Георгий Пряхин в журналистской своей ипостаси ещё и телевизионщик, он знает, как строится картинка, как важны в ней не только главные герои, но и говорящие детали. Всё это есть в рассказе — и особняк, где обитал кремлёвский Мефистофель, и грузинское застолье, и разговор, как бы непринуждённый, но по сути своей опасный, округло и мягко ломающий Курчатова. Академику предстоит преступить черту, за которой он вряд ли сможет себя простить. Взрыв атомной бомбы, первое испыта-



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный

редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2021

Все права защищены

Журнал зарегистрирован

в Министерстве связи

и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации

П/И № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2021 №12 /1881/ Основана в 1927 г.

Александр Леонидов

Ключ от Ничего

Роман

Чтобы воротить в начальственное равновесие господина Блефе, потребовалось пошататься по холмам в белых маскхалатах, напяленных неизвстно зачем, но с видом огромной значимости, расстрелять ящик с ветошью, валявшийся бесхозно и безобидно, и спугнуть из ящика мышь, недовольно затрусившую цепочкой следов в сторону перелеска. Мышь лишили дома и оглушили... Потом решили пострелять по льду озера, с намерением его взломать. Не взломать из охотничьих калибров — и подать гостью «четвёртый» калибр, почти базуку!¹

Блефе в очередной раз выпил поднесённую стопку, в очередной раз проглотил маринованный шампиньон, бабахнул из адского калибра по льду меж золотистой соломой зимнего камыша, и таки взломал. С чем его поздравили и снова налили.

Сухой, хрустящий на гиб балтийский мороз, казалось, склевывал гранулы снега до заиндевелых жухлых проплешин убористого пейзажа. Заставлял потирать перчаткой то нос, то ухо. Играл бликами на белом золоте наледей. Наследив изрядно по окрестностям, совершенно диким и безлюдным, но малоснежным, ведь зима на Финском заливе ближе к европейской, чёрной, чем к русской, простыло-простынной, вернулись к самобранкам капотов. А там служба уже поменяла приборы и блюда.

Здесь Осипа Германовича снова поили, и не только чаем, к Алине Игоревне подвели коня с дамским седлом, и она, легко, не по возрасту вскочив, показала умеренную вольтижировку. Это был, конечно, спектакль с выпуклой наигранностью. Никакая женщина, рождённая в СССР, не сядет в дамское седло, даже если и садится на коня! Но Очеплова лучше других понимала, что весь мир — театр...

Она выигрышно смотрелась именно в дамском седле, вся в мехах, в шапке-бойрке из красной канадской лисы, в песчовой короткой шубке, отороченной хвостами, как эполетами. А главное — издавдалека, когда не видно предательских мелких морщинок...

— И всё-таки она прекрасна... — тоном Галилея, обнаружив неожиданную романтическую нотку в голосе, сознался Осипу Германовичу Совенко, любуясь подельницей.

Блефе посмотрел на него плошками изумления, а потом, задавая тон искренности в предстоящем непростом разговоре, возразил:

— На мой взгляд, старовата...

— Знаете, дорогой Блефе, три вещи с возрастом только дорожают: вино, коллекционные машины и умные женщины!

Окончание. Начало см. в № 11 за 2021 год.

Блефе не хотел поддерживать разговора о коллекционировании антиквариата, перешёл к тому, зачем, собственно, приезжал, согласившись украсить собой перерезание помпезной ленточки.

— Хорошее это дело, метановые танки...

— Хорошее... — эхом согласился Совенко, всё ещё, как мальчишка, зачарованно любясь всадницей на холмах.

— И перспективное, наверно?

— Очень перспективное.

— Есть у вас такой доктор биологических наук Фадей Фарфоров. Питерская фамилия, и гонор тоже питерский... Брякнул давеча в интервью, видимо, ревнуя к Архимеду: «Дайте мне городские стоки — и я расщеплю их на чистую воду и газовую скважину!»

— Поговорил я с Фадеем Корнеевичем! — парировал Совенко. — Он больше так заявлять не станет. Ну, с кем не бывает?! Я вот тоже иной раз прессе такого ляпну, что прямиком к Президенту вызывают... Замечательный он учёный, Фадей Корнеевич, я ему так и сказал, прекрасный человек, но, говорю, «иной раз нас с вами заносит»...

— А можно это сделать?

— Что?

— То, о чём говорил Фарфоров?

— Конечно, можно. Мы и делаем, давно уже. Наше акционерное общество в каждом городе, где живёт больше миллиона, установило метановые танки возле очистных сооружений. Первый комплекс танков, кстати, возводил Фарфоров тут, в Петербурге... Так что сегодня вами открытые танки — дополнительные, вторая линия. За это Фарфоров и получил прозвище Гудериан, но не зовите его так в лицо: обижается. Я раз его в шутку назвал — так он чуть не уволился! Полдня перед ним извинялся...

— Вы?!

— А что вас удивляет, Осип Германович?

— Чтобы вы извинялись... полдня...

— Понимаете, когда разговариваешь с французом, надо говорить по-французски. Когда с блатным — ботать по фене. А когда с интеллигентом, то по-интеллигентски. Чего ж тут удивительного?! Разные люди — разные языки...

— Получается, что в каждом миллионнике у вас собственная газовая скважина?

— Получается, да. Если вам интересен процесс, то это старая советская технология. Метановый танк используется как звено водоочистных сооружений. Туда идёт смесь канализационных осадков, избыточный активный ил из вторичных отстойников. По методу доктора Фарфорова туда добавляют адсорбируемые коллоидные вещества с бурно размножающимися в них микроорганизмами. В итоге вся канализация делится на чистую воду и метан.

— Так просто?!

— Ну, Осип Германович, просто только кошки рожают... Да и то — лучше бы у кошки спросить, легко ли ей, чем за неё говорить! В девяностые Фарфорова за эту «простоту» чуть не убили, в рамках за-

чистки перспективных направлений советской науки...

— Но вы не дали? — догадался Блефе.

— А я не дал... Уголовщина хороша тем, что её можно не только нанять убивать, но охранять тоже нанять можно... Вопрос в одном: кто плательщик?

— Ну, и куда же идёт ваш биогаз? — ушёл от скользкой темы лощёный хлыщ Блефе. У него самого рыльце было в пушку. Обильном пушку из пушки 90-х, пальнувшей, в общем-то, рыловым пушком во всех и каждого...

— На внутренние нужды. Предприятиям корпорации.

— Создавая им конкурентные преимущества?

— Не начинайте, Осип Германович! — поморщился антикоррупционному пафосу, в этой обстановке явно неуместному, Совенко. — Да, наш газ значительно дешевле природного, но мы же его сами для себя делаем! Когда огородник выращивает себе бесплатно помидор — это дешевле, чем на рынке купить...

— А вы на рынок?.. — заволновался «засланный казачок».

— Что на рынок?

— Вы на внешний рынок газ не продаёте?

— Нет.

— И не собираетесь?

— Никоим образом.

— Не хотите, значит, с людьми поделиться? — подначивал и провоцировал Блефе.

— Осип Германович! — проникновенно начал Совенко, памятуя, что, разговаривая с соглядатаем, на самом деле разговаривает с Президентом, только через посредника, который, к тому же, может по глупости искажённо передать смысл. — Посмотрите на меня! Я скоро умру! У меня бывают отключающие параличи, временные, но в последний год они стали чаще... Я старый человек со скромными личными потребностями, и денег у меня не просто больше, чем мне нужно, а запредельно больше... И я очень хотел бы поделиться с людьми всем, что я знаю и умею, — потому что оно всё равно же сгниёт в могиле! Но, как говорит Евангелие, — «не имеют вместить».

— Чего не имеют вместить? — обиделся на такое лицемерие монополиста лазутчик президентской администрации. — Дешёвый газ вместо дорогого?! Он же меньше ценой, а не объёмами!

— Осип Германович, я хочу, чтобы вы поняли... — пристально взглянул на Блефе академик-олигарх. И мысленно внушил: «Дословно передай это своему «патрону». — Мы живём в обществе, в котором каждая новая технология оказывается «дарамии Смерти», потому что используется для уничтожения конкурентов. То есть для убийства людей людьми. Для нужд и обеспечения каннибализма. Дать этому человечеству биогаз — то же самое, что дать младенцу пригоршню крысиного яда...

— Что, теперь прогресс ради луддитов остановить?! — обывательски заспорил Блефе.

— Мы оказались в мире, где всякая новая технология — это война с теми, кто вложился в старые. Одна из базовых проблем капитализма — не в том, что нет новых технологий... А в том, что все побаиваются с ними связываться...

— Ну, вы-то не из пугливых!

— Ошибаетесь! Мой Гудериан, Фарфоров, рвётся в бой. И я знаю, что его танки, пусть они и метановые, легко разгромят газовую промышленность в приграничном сражении... Дальше что? Затяжная война с богатейшими людьми России и мира? Смерть огромной отрасли — а значит, и всех семей буровиков и трубоукладчиков? Метановые танки способны оторвать страны, привязанные к России газопроводами, и что тогда?

— Тогда... — замылся Блефе. — Если уж говорить в таком тоне глобальной ответственности... И по совести... Надо сжечь все метановые танки заодно с телом доктора Фарфорова... Потому что иначе это же просочится! Так или иначе — просочится...

Сколько бы Блефе ни провоцировал собеседника, на лице его был написан страх за газовую промышленность. Тот страх, которого ради он сюда и приехал разносить обстановку в корпоративных взаиморасчётах.

— Этого тоже нельзя сделать, — мягко поправил Совенко, — если мы верим в будущее человечества. Единжды научившись чему-то полезному, цивилизация не имеет права разучиться! Дешёвый газ, вы правы, создаёт конкурентные преимущества моим заводам, но не это главное, совсем не это, Осип Германович! Мы сохраняем в рабочем виде технологию, которая очень нужна будет людям завтрашнего дня.

— Но если кто-то заберётся в сейф к Фарфорову, выкрадет документацию, начнёт гнать биогаз на внешний рынок?! Промышленный шпионаж никто не отменял!

— О таком ловкаче, вздумай он играть ценами на газ, есть кому позаботиться помимо меня! — обаятельно и с добрым выражением лица рассмеялся Совенко. — Неужели вы думаете, что люди, торгующие природным газом, дадут такому развернуться?! Вот насчёт чего я совершенно спокоен, Осип Германович, так это по поводу промышленного шпионажа! Не нужно ничего воровать из сейфа у Фадея Корнеевича. Фадей Корнеевич всё это описал подробно, со схемами и чертежами ещё в советских журналах. Да, узкопрофильных, малотиражных, но в ведущих библиотеках мира они в свободном доступе! В каждой. Так что насчёт сейфа — вы погорячились...

— Могу я передать, — смущённо раскрыл карты Блефе, — что вы категорическим образом отрицаете саму возможность продавать биогаз внешним потребителям?

— Вы можете это передать и добавить: человек, который вздумает так поступить, начитавшись в технической библиотеке журналов «Вестник биологи-

ческой секции АН СССР», — не жилец на белом свете. И Совенко, передайте, понимает это не хуже любого вменяемого человека...

Виталий Терентьевич подумал, помялся — надо ли говорить об этом с «почтовым ящиком». И решил, что всё же надо, а точнее, не сдержался:

— Современный человек, по сути своей, дегенерат, и давать ему халявную прибыль, например, в виде бесплатного топлива — только растлевать его ещё дальше. Трагедия наша в том, что, усложняясь и совершенствуясь до кнопки на пульте, мир высоких технологий в итоге произвёл примитивного пользователя-примата, который убивает мир, даровавший ему кнопку, позволяющую ему убивать мир... Такой вот замкнутый круг, и что с этим делать — никто не знает.

— Президент знает! — оптимистично пообещал Блефе.

— Не льстите отсутствующим, — посоветовал Виталий Терентьевич. — Они не оценят. Никто сегодня на Земле не знает, что делать с приматом, бездумно нажимающим кнопки сложных и могучих устройств. Я тоже не знаю, но знаю другое: денежными дарами эту проблему не решить. Психодинамика сама должна переломить дегенератизм, который богатым делает нищими, а нищих — ещё более нищими... И если она не справится — то мы с вами ей не замена!

— Вас послушать — так выходит, как будто людям деньги не нужны!

— Почему не нужны? Всем нужны. Только умным рукам для большего ума. А бедовым рукам — чтобы сделать больше беды. Чувствуете разницу?

* * *

Партийная баня охотхозяйства «Золотая горка» по традициям прежней эпохи стыдливо занижала цену своей роскоши. Это, кто забыл, — когда не фанеру крашеную выдают за малахит, как в пустотелой показухе евроремонта, а наоборот. Приглядевшись внутри бани, человек понимал, что она куда дороже и фешенебельнее, чем показалась издали на беглый взгляд.

Всякая власть состоит из насильников, а лишившись их — исчезает и сама, в никуда, уступая другим. Ибо всякая воля есть или преодоление чужой воли, или же трагическое безволие. Если не подавляешь ты — подавят тебя. Но имеются в мире власти, которые заигрываются в «слуг народа», начинают стесняться собственной природы, своей монополии на насилие — и прячутся в лапти, прикрывают дворцы декорациями хижин. Ни к чему хорошему такое поведение не приводит, потому что дешёвая ложь о дешёвой власти всегда бывает раскрыта и всегда растлеывает современников. Умные люди любят власть за дело, глупые — просто так, но никто не любит власть за показухи и прятки. Новая власть учла уроки старой, и новые элементы вокруг старой базы из шептунов превратились в крикунов.

Гостей теперь встречал арт-объект — двухметровая фигура Петра Великого из стеклопластика с повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Гирлянды на комплексе и вокруг него создавали буйство света. Рядом с пластиковым царём, «отсель грозящим шведу», высилась сияющая карета. Каркас сделали из алюминия, поверх которого, словно бусы, рассыпали светодиодные огни. Мансарду под коньком остроугольной крыши украсил огромный сверкающий циферблат с движущейся по кругу стрелкой. От него сбежала светодиодная бахрама с эффектом мерцания, разливавшая тёплый белый свет.

Совенко заметно хромал и философствовал. Может быть, к этому располагали плоскогрудые лесопустоши Ингерманландии, особенно по зиме, когда она меняет зелёное платье на прозрачную ночную рубашку снега. В тон им философия выходила у Виталия Терентьевича мрачноватой:

— Из множества страшных видов смерти далеко не самая лучшая — в ловушке униженной беспомощности. Она не кровавая и не жуткая на вид, но очень уж долгая. Она может тянуться десятилетиями: когда ты там, откуда некуда уйти и незачем оставаться. Я посоветовал бы молодым избегать её, но это глупый совет: как избежишь, если судьба? Простой мир хотя бы притворялся туннелем, выводящим на свет. Мечта о лучшем будущем помогала преодолеть и муку, и тоску — даже если оставалась только мечтой. Ныне человека лишили и этого. Современный мир для большинства людей — темный и тесный коридор, заканчивающийся глухим, замурованным тупиком.

Вдвоём с Алиной Очепловой их интимно и томно поглотили стены, умело и дизайнерски симулирующие срубную простоту сучковатых брёвен. Согласно номенклатурной, партийной ещё традиции — Совенко в первую очередь беспокоился о проверяющем:

— Как себя чувствует наш столичный дурак?

— Какой? — кинула взглядом Очеплова. — Считаю с тобой, их два приехало...

— Который помоложе...

— О, ему очень хорошо! Он в гостевом комплексе с двумя премиумными стриптизёршами...

— Рослые?

— Природой не обижены. Девки заводные, горячие, грудастые...

— Я смотрю, отработано у тебя...

— Ну, а то! Сколько лет я разных ревизоров-то принимаю, и не сосчитаешь...

Таким его мало кто видел; и ещё меньше кто радовался, таким увидя. Ибо на любителя оно, если говорить советским языком, «рагу»: костлявое и угловатое. Виталий Совенко сидел совершенно нагой на банном полке оттенков самого светлого из сортов сливочного масла и шлифованном до масляной мягкости прикасаний и был он, на мужской взгляд, очень неприятный: нескладный, сутулый, какой-то

антропологически-помятый. Он и смолоду-то не красавец, а теперь — так просто тошно смотреть. Казалось бы... Мужскими глазами... Женщины его воспринимали иначе. Деньги, наверное, скажет циник, но не будем упрощать до трафарета. У него была ещё и особая, мрачноватая, но магнитная харизма, чёрное, мурашковое спинам, обаяние ископаемого пещерного льва.

Его давний соратник и верный заместитель Максим Львович Суханов говорил про это так:

— Когда он входит в комнату, все, кто там, не сговариваясь, встают...

— Ну, это и неудивительно, учитывая его должность! — возражал героический колобок, заслуженный крабовладелец — самый авторитетный в России авторитет по искусственному разведению промысловых крабов, Алексей Мушной.

— Должность тут ни при чём! — задумчиво покачал головой Максим Львович. — Понимаешь, все вначале вскакивают, и только потом задумываются — «а зачем мы это сделали?» Кабы наоборот — тогда должность, а так что-то иное, можно сказать, потустороннее...

— Ну и давно ты меня стесняться стала? — поинтересовался с полка голый, поросший седым волосом, как благородной патиной времени, окутанный лишь своей харизмой матёрый секач у своей давней подруги, Алины Игоревны Очепловой.

Алина Игоревна, на харизму в его силовом поле не рассчитывая, целомудренно заматалась в простыню, сложив из её уголков красивый, прямо-таки художественный узел на груди.

— Я, Алик, не тебя стесняюсь, ты меня какой только не видел... Попытайся понять, я себя стесняюсь... Перед тобой...

— Вот ещё, выдумала!

— Алик, пойми, я совсем уже не та, какой была в нашу первую встречу... Я старалась следить за собой, но... Ты же понимаешь, что я уже не та... И я не хочу, чтобы ты меня такой видел...

На стенной консоли предбанника крепился закруглённый столик, на нём — серебряное ведро со льдом, в котором аппетитно запотевала бутылка «Столичной», вокруг — стопочки со звёздочками... Совенко отодвинул стопки, достал из резного шкафчика гранёный стакан. И наполнил его до краёв.

— Прими...

— Зачем это?

— Мне тебе с древнерусским поклоном подавать?! — рассердился Совенко. — Говорю же, как врач, — прими, я знаю, что делаю.

В горькой бабьей гордости Алина Очеплова, в девичестве, когда ещё не стеснялась своего тела, Пескарёва, — приняла вызов и выпила весь стакан. Последние несколько капель лихо стяхнула на цветастый половичок предбанника: мол, знай наших!

— Ну, помолодела? — криво скалился голый нескладный академик. — Дурь с извилин смыло?

— Смыло... — Поплывшим жестом рук она распустила свой изящный узелочек тенсеповой, эвкалиптовой ткани, простыни. «А что? — думалось на новую голову. — Всё одно простынка-то полупрозрачная, было б чего скрывать!»

— Вот видишь! — удовлетворённо крикнул Совенко, наполняя стакан холодной водочкой для себя, «вторым номером». — Старая микстура народной медицины, а как помогает...

— Алик, а закуски-то, закуски... — хмельно и весело заволновалась обнажённая и, кстати сказать, в очень хорошей форме, резко помолодевшая Алинка. — Сейчас я тебе икрой багет намажу...

— Себе намажь! — отмахнулся этот самоуверенный наглец. — А я тобой занюхаю...

Притянул фаворитку к себе, зарылся носом в её чёлку, которую она теперь подкрашивает, чтобы не проступили безжалостные серебряные нити...

— Ладно, ладно! — отбиваясь, щебетала она, действительно чувствуя себя двадцатилетней. — На тебе бутербродик, чё ты как ребёнок закусываешь сладким...

— Совсем другое дело! — хвалил свою врачебную практику Совенко. — Вот такой тебя люблю я, вот такой тебя хвалю я!

— Угодила Мойдодыру? — сбиваясь дыханием, томно, от груди, спросила она, чувствуя, как он жадно обхватил ей спрота.

— Ну, не знаю, не знаю, — кокетничал старый распутник. — От дальнейшего поведения зависит... Так-то у нас с тобой всё только начинается, Алинка!

— Брось, Алик, — немного обиделась Очеплова. — Ну что ты несёшь?

— А что? Больше всего на свете я мечтал бы прожить жизнь с тобой, маленькая, кушать с твоих рук, а не столовскую баланду...

— Можно подумать, кто-нибудь, когда-нибудь мешал тебе воплотить этот смелый план...

— Я сам себе мешал...

— Нашёл чем гордиться!

— Алинка, воробушек мой, со мной постоянно жить нельзя. Я токсичный. Это всё равно, что постоянно питаться одним только перцем или чесноком. Иногда для вкуса в основное блюдо добавить, может быть, неплохо... Но каждый день... бр-р! Спроси у Танюсика, я над ней такой эксперимент поставил... До сих пор у неё нервный тик вот здесь... — Совенко легонько постучал указательным пальцем возле левого глаза.

— Ну, не знаю... Я бы попробовала... А вдруг именно у меня бы — и получилось?!

— А Дима как?

— Муж-то? Идёт лесом... Как будто он когда-нибудь ходил другим маршрутом, право слово...

— Я не могу тобой рисковать! — сказал Совенко очень серьёзно, звав полминуты на раздумье. — Ты мне слишком дорога, чтобы на тебе опыты ставить!

Много ли любящей женщине надо? Сказал, мерзавец, вот так две фразы с умным видом — и пожиз-

ненное «кидалово» лёгким движением руки превратилось в нежную заботу... Была бы трезвее, посмеялась, но после стакана «Столичной» всё кажется искренним, пробивает до слезы...

* * *

— Сложная это задача: оживить мёртвую землю. Но задача куда более сложная — оживить мёртвые души. Если серные бактерии выживают даже в кипятке, то, значит, я могу отыскать такую форму клеточной жизни, которая приживётся в любом климате! Нужно лишь отобрать заданные свойства и совместить в гибриде. И появится растение, выживающее, размножающееся там, где камень, подобно сквороде, может изжарить яичницу! Это сложно, но это решаемо...

— А с мёртвыми душами?

— А вот с ними сложнее... Понимаешь, в работе с растениями у них есть господин, владыка, который всё за них решает, толкает их, куда ему нужно. Отыскав видовой «посредника», мы преодолеваем несовместимость видов. Вегетативным сближением сводим вместе несводимое. Мы создаём наследственно-обогащённые организмы с расшатанной наследственностью, позволяющей наклонять гибридное потомство в ту или иную сторону. Но лабораторное растение целиком и полностью в моей власти...

— А человек конечно же нет...

— Как быть с величайшим даром Бога человеку — свободой воли? Как быть, если дар перерождается в проклятие? Для того чтобы оживить бесплодные земли, я собираю растение по клеточным кусочкам, я мастерю организм, как часовщик часы, под электронным микроскопом, соединяя нужные мне генетические коды на молекулярном уровне... Но не могу же я человека так собрать! Я ведь не совсем ещё свихнулся и прекрасно понимаю, что методом часовщика, отвёрткой и паяльником, принимая организм за механизм, я создам чудовище, Франкенштейна, нечто, страшнее всего живого и даже страшнее всего мёртвого...

— Тогда чего ты хочешь? Оживляй мёртвые земли и оставь людей в покое, они сами с собой разберутся... И, кстати говоря, давай-ка выйдем из парной, Алик! — указала она на деревянный щиток термометра: здесь не парламент, нельзя так долго преть...

Он сделал неопределённый и какой-то неловкий жест: мол, иди... Как это бывает у людей, привыкших к своей любви, давно горящей без вспышек, без пламени, рассеянным склерозом «ламп дневного света», Алина сразу же почувала, что это неспроста.

— Пойдём, говорю! Удар хватит!

— Ты иди, а я ещё посижу...

— Алик, что случилось? Я же вижу, что тебе плохо... И ты никогда не засиживался в парилке!

— Ничего... Сейчас пройдёт... Ноги чуть-чуть отказали...

Он, не по размеру натянутый на самого себя, беспомощно лакал собственную слюну, сбивая нестер-

пимую сухость во рту. Вот она, человеческая слабость: думал полкí за собой вести, а сам с полкá встать не может...

— И ты готов тут свариться заживо, — сердилась Алина, — лишь бы скрыть от меня тайну Полишинеля? То, что ты тоже иногда бываешь слабым?!

— Как ты всегда мастерски формулируешь, малыш! — восхитился «её» Алик.

Она подлезла к нему под мышку, чтобы помочь встать. Ощущения жуткие — как будто взваливаешь на плечо тряпичную куклу без костей.

— Это пройдёт... — оптимистично пообещал Соленко. — У меня так уже было... Правда, в последний год такое стало чаще случаться...

Вот так всё просто и будет. По-людски. Однажды его прихватит и уже не отпустит. И скоро. Возраст. Образ жизни. Если говорить строго научно, он пережил все сроки, которые могли бы нагадать ему медицина в молодости. Есть такая благородная версия: человека дела на земле держат, недоделанные — не отпускают. А есть реалистичная: просто повезло.

— Богом быть совсем нетрудно! — спорил он как-то с фантастами Стругацкими. — Трудно другое. Трудно быть служителем Бога. Нести, как муравей, то, что больше тебя самого. Не обладая всемогуществом, вести себя так, как будто им обладаешь...

И Алина думала, что Бог принимает его жертву. Трудно объяснить, за что и почему — но принимает. Вот человеку за 70 — но разве по нему скажешь?

Однако однажды временный паралич, которого он стесняется, как подросток энуреза, может быть, потому, что при всей своей медицинской опытности не может объяснить причин, — уже не отпустит.

И что тогда? Может ли она, Алина Игоревна Очеплова, представить себе жизнь без него, самого любимого из ненавистных и самого ненавистного из любимых? Принять всерьёз вот эти его слова: «Одни пекли хлеба, другие клали камни. Те, кто клал камни, жили впроголодь и считались дураками. Умерли и те и эти. После хлебопёков не осталось ничего. После камнерезов — каменные громады. И, глядя отсюда, уже не так очевидно, кто был дураком...»

Как медсестра раненого из боя, что, в общем-то, недалеко от истины, она выволокла его из парилки в просторную комнату отдыха. Уронила на кожаный застеленный рушниками диван, в приятном глазу полумраке, под мерцание настенного плоского телевизора подумала: «Игра сыграна...» А потом вспоминала дальний, давний, совсем не здесь и не сейчас день, но так живо и ярко, как будто не из парилки вышла сюда, а прямо оттуда...

* * *

Это был прекрасный и солнечный день давно минувшего, когда они поехали с проверкой на одно из гигантских советских «водогноилиц», как клеймили их перестроенные газеты, очищаемых по методу академика. Туда, в зацветшую трупно-зелёную воду, ухнули несколько тонн малька белых амуров и тол-

столобиков, каждый из которых сжирает по восемьдесят килограммов самой неподходящей для нормальных рыб водной флоры...

И вода через год стала голубой, манящей, ласковой, шёлково-прозрачной.

— Пошли купаться! — предложила она. Но академик побрезговал. А она — нет. Прекрасно осознавая, как выгодно смотрится в купальнике-бикини, не скрывавшем почти ничего, выпукло и рельефно обозначавшем мокрыми полосками ткани то, что всё же скрывалось... Поплавала в очищенной воде, после чего вышла к нему, как наяда из пены морской, как на полотнах Боттичелли...

— А вот теперь — настоящая проверка! — смеялась чертовка. — Если ты мной после купания не побрезгуешь, значит, действительно веришь в свой метод! Без этого — акта приёмки не подмахну!

Подмахивала иным образом, в янтарно-смолистом раю прибрежных строевых сосен, напоённых ароматами хвойной медовой росы, подарив ему себя и сама одаренная сверх ожидания нисколько не академической, а простой и мужской жадной страстью...

— Ладно, ладно! — по-кошачьи оглаживала его седеющую грудь. — Убедил, аргументатор! Принимаю я у тебя водогноилице...

Они были в восьмидесятых, они были гораздо моложе и счастливее, чем сейчас. И река жизни ещё текла меж живописных берегов, а не впадала, куда она у всех впадает в итоге, в маразм...

— Вот так должны решаться проблемы! — бормотал академик, раскуривая сигару, и она льстила себе, что это он про неё. — Вот так! Гниль расщепляется на чистую воду и рыбу, понимаешь?! А они предлагали слить водохранилище, но разве это решение проблемы?

— Слушай, Виталик, если каждый раз нам с тобой, чтобы уединиться вот так, нужно будет зачистить водохранилище... то несите карту водохранилищ, я готова!

— И будешь целый год ждать? — хитро прищурился он.

— Ну, у нас же другие академические объекты есть... — рассмеялась Алина. — Потренируемся там...

Больше всего её завораживала шарманка его разговоров «после». Иногда даже хотелось побыстрее «кончить», чтобы услышать гипнотический, бархатный тембр, прозу делающий романсом:

— Фундаментальная мечта социализма с его гигантоманией — человек, который делает всё больше и больше. Для этого возрастают и мощь и параллельно — молекулярная точность его устройств. Фундаментальная мечта капитализма — человек, не делающий ничего. Это и есть мечта любого предпринимателя, выйти на ренту, превратиться в обесцененного бездельника. На ранних стадиях эту «нирвану» могли себе позволить лишь немногие. А что, если появится возможность даровать её всем? В виде, например, безусловного базового дохода —

всякому? Ну, они же не звери, и если появится такая возможность — от большой доброты возьмут да швырнут с барского плеча каждому то, о чём сами мечтали для себя веками: пассивную ренту... Чтобы тунеядец укреплялся бы в своём тунеядстве уже с безусловным правом, его разум и личность деградировали бы ещё быстрее, чем сейчас? Это представление о человеке, как о глисте, которому достаточно лишь отыскать питательную среду для его полного и окончательного счастья... Такая среда уничтожит «человека разумного» быстрее и вернее, чем даже концлагеря!

— Не передёргивай, Алик! Человеку нужен отдых. Ты, может, этого не понимаешь, тебя заклонило в лабораторном экстазе, но большинству людей отдых необходим. В двадцатом веке человек очень устал. Он не только физически, но и нравственно надорвался в гомерических мегалитах твоей космической цивилизации, подозрительно смахивающих на строительство египетских пирамид...

— Может быть, может быть... Но человек разумный, как ни крути, хозяин, творец и созидатель, а они мечтают превратить его в пожизненного младенца-иждивенца... Угасающего не физически, не от истощения, а умственно, засыпающего навеки, как усыпляемый кот на столе ветеринара...

* * *

Он и сегодня такой же брызга и многослов, только теперь его периодически парализует. Прыть не та, но речь не о мыслях:

— Вот мы открывали метановые танки для внутрикорпоративных нужд... Ты знала, что в горячий газ подмешивают одорант, запах гнилой капусты, чтобы вовремя почувствовать утечку?

— Ну конечно же, разумеется... — раздражалась Алина. — Ну нет! Ещё мне не хватало за газовиками тухлую капусту нюхать!

— Это умно, сероводородная присадка... Но когда гниёт Бытие, запах порой выделяется вкусный, скорее привлекательный, чем тревожный... А в моей жизни всегда был устойчив запах гниения самого Бытия, вне и помимо корпорации... У людей были книги и телескопы, микроскопы и защищавшие их законы... И всё это они променяли на кровавую и злую клоунату современности, у которой ни начала, ни конца, ни смысла, ни выхода... И ведут себя так — словно именно этого всю жизнь и хотели! Плещутся в современности, как опарыши в говне...

— А ты никогда не думал, что людям, может быть, больше ничего и не нужно?

— Думал. Об ошибке Маркса и Ленина. О том, что коммунизм — вовсе не выбор рабочего. Тупица у станка не думает о справедливости, о равноправии, он мечтает выбиться в хозяйчики. Коммунизм — выбор интеллектуалов. То есть людей, живущих напряжённой умственной жизнью, думающих, анализирующих, сопоставляющих. Житейски-компетентных.

И способных на высшие отношения между собой, только потому, что у них высшие формы сознания! Такие люди — всегда трагическое меньшинство, они гаснут в массе, как фитиль в песке, а люди с низшими формами сознания высших отношений не понимают. Им неуютно в сложности, они инстинктивно тянутся к примитиву. Куда поползёт опарыш? Естественно, в то дерьмо, откуда его вынули!

— Это его среда обитания, понимаешь? Был такой мультик, там мальчик из жалости переселил лягушонка из грязного сырого болота в сухую и чистую вату... А лягушонок стал помирать... То, что интеллектуалу кажется адом крошечным, для примитивного зверочеловека — дом родной. Он там себя хорошо чувствует. А в хрустальных дворцах интеллектуального совершенства он не видит ничего, кроме сложности, от которой голова пухнет!

— И что ты хочешь этим сказать?

— Живи сам, Виталий Терентьевич, «как хотите», и дай им жить, как они заслужили.

— Думаешь, не спрашивал себя: по какому праву ты за опарыша решил, что ему будет лучше под палящим солнцем абстрактных истин? А что, если правы французы и мысль — болезнь головного мозга? Паразит, поселившийся в черепе биологического существа и мешающий ему отправлять его нехитрые инстинкты и слабоумно радоваться жизни? Вот так... — Он захихикал, то ли для психологической разрядки, то ли уже сходя с ума от бульжников своих мыслей.

Она встала «утешить самовар» на приставном столике — энергично нагоняя мехами воздух в тлеющую еловую шепу... И подумала — а вдруг? Они же редко видятся, вдруг это последняя встреча? Впрочем, так она думала почти о каждой их встрече...

6

Виталий Терентьевич у себя на даче, на свежем воздухе, похрустывая опавшими листьями и сдувая с лица летучие паутинки осени, тенёта странствующих паучков, гонимых ветрами Подмосковья, возле раскалённого мангала собственноручно готовил шашлык. Шашлык был необычным: овощи-гриль, баклажаны, кабачки, болгарский перец, шампиньоны...

Дача тоже была необычной: выстроена до революции оккультистами для спиритических сеансов, потом выделена новой властью деду Совенко. Унаследованная его отцом, наконец досталась нынешнему владельцу, очень мало изменившись.

Дача — хотя бы просто в силу возраста — была готической, угрюмой, поскрипывающей и постанывающей на разные призрачные голоса, угрюмой, полной тайн и тайников. Казалось, что ближние к мангалу окна дачи чихают отпряного маринадного дыма, облаком уюта окружившего повара-самозванца.

Пожилый мажордом, потомок ещё советской обслуги правительственных дач, следовательно, по-

томственный дворецкий (редкая при Советской власти профессия) Пётр Багман ассистировал «грильургу» в его незамысловатой операции, подавая кружки и колечки вегетарианского гриля.

В силу возраста Пете Багману стало полагаться отчество, но оно всякий раз «улыбалось» окружающих: Пётр Аполлодорович...

Именно в этот бюджетно-пенсионный рай корпоративный советник председателя Феликс Фениксов ввёл недоумевающего венгерского сахарозаводчика Ласло Оменя. Сперва металлической мелодией из часового механизма проскрежетала на уключинах бронзовая калитка, напомнившая о кладбищенских оградах. Потом узенькая витиеватая и «видиеватая» садовая тропинка пошептала под ногами резными кленовыми паданцами...

Виталий Терентьевич, имея под рукой младшего Багмана, в другой руке имел картонку, грубоватую для его общественного положения, которой упоённо помахивал над углями. Иногда «поддавал»: из брызгалки прыскали тоненькие струйки, распуская, будто сплетни, нотки смеси яблочного и бальзамического уксусов.

— Извините за домашний вид! — сказал венгерскому гостю Совенко в вязаном пуловере. — Люблю, знаете ли, повозиться...

— Я тоже, — сознался Ласло, хотя по его нынешнему виду не скажешь.

На нём был куда более уместный в офисе, чем на даче, приталенный строгий костюм с искрой металлизированных нитей в ткани, сорочка цвета «шампань», банкирский галстук в мелкую полоску, на ногах — ласково-лаково отливающие «оксфорды» черного цвета. На лоне осенней славянской природы весь он был неуместен и одеждой и лицом: мажарски-копчёным, черняво-брюнетным, резко-рубленным. Чуть вьющиеся волосы спадали до плеч, над губой топорщились злые колючие тараканьи усики: такими портретисты изображали придворных эпохи Петра Великого...

— Маринуете? — как знаток знатока, спросил Совенко.

— Если гриль из овощей, то нет.. — несколько обалдело ответил Ласло, ибо вовсе не к такому разговору готовился с председателем совета директоров АО «Биотех»!

— Напрасно. Баклажаны немножко надо помариновать, чтобы выпустить из них горечь...

— Баклажаны я мариную. Отдельно, — поражаясь абсурду, говорил Омень. — Остальные просто тщательно промываю...

— Сыр добавляете?

— Шпик добавляю...

— Напрасно. Испортите первородный вкус.

— Он слишком пустой у кабачков, первородный-то...

В Венгрии у бизнесмена Ласло была кличка Омень. И Совенко подумал, как сильно отличается Европа от России. В России его с такой фамилией

неприменно бы прозвали «Пельменем» или «Оленьем». «Ласло — Масло» — почти гарантированная школьная дразнилка, с точки зрения нейрологии российских школьников. А тут — Омень, мистика, предсказание, киноклассика... Культура, так сказать, в криминальных массах!

— Я знал вашего отца... — сознался Совенко. — Когда он был в руководстве венгерской Компартии...

— Меньше года. А потом под люстрацией — многие годы до самой смерти...

— Хороший был человек...

— Только оставил плохое наследство. Вы не представляете, чего натерпелась семья за его несвоевременную карьеру...

— Нам не понять, — кольнул Совенко. — У нас люстраций не было...

— Наверное, — отомстил ответной шпилькой Омень, — именно так говорили феодалы на задворках Европы после французской буржуазной революции!

— Очень может быть... — покладисто закивал академик.

Ну что же, европейцу ли не знать универсальные основы деловой этики? Если старшие в деле тебя приглашают на танец пустой светской болтовни — надо вальсировать, обходя бизнес, порхать бабочками пустословия...

— Вы знакомы с современным киноискусством Восточной Европы? — поинтересовался сахарозаводчик из Будапешта.

— Нет, конечно же не знаком, — удивился Совенко. Испугавшись, что ему сейчас же предложат ознакомиться, торопливо добавил: — У меня времени на это решительно нет!

— А у меня это, можно сказать, хобби... — грустно улыбнулся Омень. — Я смотрю вечерами наши, венгерские, польские, румынские картины... Их немного, и все они, как бусины, нанизаны на одну нить.

— И какую? — из вежливости поинтересовался Виталий Терентьевич.

— Их нить Ариадны — мрачность, тоскливость, суицидальность. Безмолвный, а иногда и звучный вой. Отражённый в них мир после «бархатных революций» — постоянно провоцирует повеситься или, как минимум, обдолбаться до беспамятства...

— Неужели у вас всё так плохо?!

— Нет, у нас не всё так плохо. Даже в Восточной Европе есть те, кто живёт хорошо. И их даже много. Но обобщить их успех не получается по той же причине, по которой каннибал не может поделиться с жертвой рецептами своей мясной кухни... И вот те, что не обобщают практики, — порой живут весело, беззаботно, комфортно...

— Но художник так не может! — догадался Совенко.

— Да, художник в силу профессии вынужден обобщать, хоть тресни... Вся суть их работы — обоб-

щение идей, создание обобщённых образов, которые могли бы стать нарицательными. А попытайся у нас обобщить — и станешь несчастным. Нет общей правды для зажиточных и нищих. Что одним хорошо, то другим смерть. И восточноевропейское кино последних десятилетий находит то единственно общее, что есть у людей: трагическое отсутствие общего. Включите новенький венгерский или румынский, даже немецкий фильм! Везде выпукло ощущаем тупик общества. Назад ему идти нельзя — табу, харам и анафема. А вперёд некуда. Потому в Восточной Европе из года в год повторяется один и тот же день...

— День сурка?

— Ну, что вы! День сурка американский, он гораздо веселее, там такой безнадёги нет...

— На мой взгляд, — пристально взгляделся Совенко в деликатного гостя, не торопящегося «шуршать контрактами», — это важные и глубокие наблюдения. И отнюдь не праздные...

— Когда вы стоите у базилики Святого Стефана в Будапеште, — продолжил подбодренный сын люстранта, — то стоите в тени надгробия тех идей, которые поднимали европейцев на дыбу и в крестовые походы. Сверхценность любой идеи — намертво увязана с вашим отношением к ней. А это полный произвол. Вы вольны считать идею гениальной, или просто годной, или никакой... Вольны отдать за неё жизнь — или не давать ломаного гроша...

— Аналог сегодняшних базилик, — пожал плечами Совенко, провоцируя гостя на откровенность, — маниакальное потребительство, деньги...

— Да я боюсь, что и деньги... — начал было Ласло.

— За деньги не бойтесь! — оптимистично перебил академик, очищая крупную луковую головню, хрустко сдирая сухие чешуйчатые оболочки. Он намеревался нарезать лук колечками и посадить на шампуры. — Это как усыхание луковицы, — наглядно показал сочный шар Виталий Терентьевич, демонстрируя своё кулинарное искусство. Луковица в его руке казалась запретным яблоком Эдема, а сам он змием. — Вначале омертвление внешних, высших оболочек, потом оно идёт вниз и вниз, до самой пазухи и донца... Деньги гораздо ближе к звериному, а потому жажда денег угасает гораздо позже высших отделов психической деятельности...

— Есть другое мнение. Мнение моего отца. Последнего венгерского коммуниста. Он говорил, что у охлаждения идей есть добавочное имя: трупное охлаждение. То есть современный человек идёт не в состояние зверя, а в состояние трупа.

— Очень может быть! — кивнул Совенко. — Но мы ещё поживём. Потому что, — он подмигнул, — за себя мы решаем сами! Эпоху не спрашивая, — и без перехода потребовал: — Полотенце!

Петя Багман подал ему льняной рушник. Взамен получил шампур, который тут же привычно, правда, немного с брезгливостью, надкусил сбоку.

— Усилился эффект мясистой сорта?! — приставал к нему академик, не давая времени толком распробовать.

— Усилился! — пискнул Багман, спасая чью-то премию, а может, и карьеру в АО «Биотех».

— Смотри мне, не ври! — нахмурил брови Совенко, и даже Ласло стало страшно, хоть он тут был совсем ни при чём. — Знаю я вас! Друг дружку покрываете!

— Виталий Терентьевич, мне зачем?! — с извиняющимся возмущением пропищал потомственный дворецкий семьи Совенко. — Я даже не знаю, что это за овощи, откуда они, чьего авторства!

Своим народническим, обильно расшитым рушником Совенко тщательно протёр каждый палец, с тем чтобы протянуть уже чистую руку ладонью вверх Феликсу Фениксову: «Дело!»

Тонкая пластиковая папка оказалась в распоряжении повара-самозванца. На папке была надпись: «Операция «Чёрная Дыра».

* * *

Операция «Чёрная Дыра». Ухнуть на мировые рынки космическое количество сахара под маркой принадлежавших Ласло сахарных заводов. Европа не пустит к себе чужого крупного оптовика, на их рынки просто так не пролезешь, но Ласло Омень имел в ней статус своего. По крайней мере, пока не ухнул, сминая конфигурацию всех поставок, такую бездну сахарного опта в «чёрную дыру» мирового потребления...

Когда они поймут, сколько сладкого он им вложил в анус, — они с ним разберутся неслабо. Интересно, зачем ему это нужно?! Вся эта операция, которую в директорате АО «Биотех» назвали, словно военную, кодовым именем «Чёрная Дыра»...

Видимо, у него есть свои резоны — расчёт «всё сбыть до отлова».

— Скорее всего, мне придётся отклонить ваши условия сделки, — сознался Ласло. — По вполне понятной в деловых кругах причине: они слишком выгодные.

— Такой сыр только в мышеловке? — с ходу уловил Совенко.

— Именно так.

— У нашей оптовой скидки есть уважительные причины.

— Чтобы её принять... Я вынужден настаивать их узнать.

— Я вас понимаю. Но торговля — дело двустороннее. И если вы просите меня раскрыть карты — то я попрошу вас о том же...

— Почему я готов в это ввязаться?

— Ну да. Дело-то нешуточное. Эта сделка обрушит цены на сахар в Европе, как минимум, а может быть, и во всём мире. И не на день-два... У вас должны быть серьёзные основания, чтобы, проживая в Венгрии, играть с этим...

— Дело в том, что я уезжаю из Венгрии. Буквально сразу после сделки.

- И?
- Что «и»?

— Вы считаете, эта миграция в достаточной степени объясняет вашу решительность перейти дорогу множеству зубастых оптовиков?!

Ласло посмотрел на небо. Потом на блестящие острые носки своих туфель. Вдохнул, собрался с силами и открылся, по возможности лаконично:

— Я должен предупредить, что условие нашей сделки — конфиденциальность. Я буду вашим дистрибьютором в Европе, только если вы гарантируете мне отсутствие утечек информации... За такие дела меня по головке не погладят...

— А как же свобода личности? — издевался Совенко.

Улыбка Ласло Оменя оплыла, потекла, как у женщин косметика под дождём. Открылась мадьярская злая скуластость, по исходному коду — волчья.

— У нас некому заниматься свободой личности. Все наши правозащитники занимаются ею у вас...

— Но, пардон муа, мы не героин вам толкаем, Ласло! Всего лишь сахар. Вполне себе кондиционный сахарный песок...

— В таких объёмах я его обязан задекларировать, где нужно. Если я это сделаю, то сделку гарантированно отклонят. Поэтому я и темню, скрывая её, как умею...

— А как же коммерческая тайна? — подтрунивал ироничный академик, делая вид, что вчера родился, а про европейские нравы впервые слышит.

— Коммерческая явь у нас для явных обществ. А коммерческая тайна — для тайных обществ. Всякая фирма используется её формальными владельцами, но им не принадлежит...

— А как же свобода предпринимательства?! — Виталий Терентьевич укоризненно покачал головой.

— Вы издеваетесь?! — взорвался наконец Ласло. — Вам приятно насмеяться над нами?!

— Что вы, что вы... — сдал назад Совенко, сделав ёрнически-испуганное лицо.

— В Евросоюзе, — чеканил озлобленный венгр, — каждый бизнесмен имеет ровно столько, сколько ему отведено. Реальной. Властью.

— Масонской ложей?

— Не везде её так называют. У нас предпочитают говорить — «владельцами финансовых и информационных потоков».

— Да неужели же они у вас в одних руках?! — глумился академик. Впрочем, видя, какой отлив случился в тёмных маслинах глаз собеседника, тут же пошёл на попятный. — Извините, извините, это я уж так... Нервный юмор...

— Так вот. Каждый бизнес имеет столько, сколько ему отведено. А если возьмёт больше, чем отвели, — его сочтут вором и экстремистом, покушающимся на захват власти...

— Как я понимаю... — Совенко стал безукоризненно-корректным и по-деловому сдержанным. Он это умел — когда хотел. — Вы собираетесь взять больше отведённого...

— Значительно больше. Гораздо больше. На порядок больше, — отчеканил Ласло. — Ваши объёмы поставок сахара где-то в двадцать раз больше предельного максимума загрузки моих сахарных заводов...

— Ну, Ласло, тогда сразу всплывёт...

— Не сразу. Я посчитал. Я делаю оферту двадцати оптовикам в двадцати странах. Каждый из них не знает о других. Таким образом, каждый думает, что я сбываю ему всю продукцию.

— До поры до времени... Пока не сопоставят...

— Мне должно хватить. Я посчитал, — упрямылся Омень.

— Зачем вам такой риск?

— Мои сахарные заводы — банкроты, Виталий Терентьевич. На них нет ничего, кроме долгов. Своими силами мне эти долги не вернуть. Я всё равно покидаю Венгрию. Вопрос только в одном: или с большим кушем, или без ничего, с голым задом...

— Слушайте, Ласло, — посочувствовал Совенко, — вы не успеете! Сроки поставки, потом сроки оплаты, потом вам нужно успеть вывести деньги в надёжный офшор и самому успеть выехать... А «стучат» у вас в Европе охотно и быстро!

— Я посчитал. Я должен успеть. Это всего лишь сахар, а не героин! Они не смогут сразу раскусить схему... А в Парагвае им меня не достать...

— Из ваших слов я делаю вывод, что в Парагвай вы не поедете.

— Да, но вам нет дела, куда я поеду. Я, Виталий Терентьевич, как-нибудь перебыюсь без вашей открытки на Рождество... Я для того и раскрыл вам всю схему, откровенность за откровенность, чтобы вы поняли: потом искать меня не нужно. И незачем.

— Ладно. Откровенность за откровенность. Вы будете сбывать чужой сахар под собственным брендом. А у нас обратная беда: мы не можем сбывать свой сахар под своим брендом. Весь этот сахар получен нами бесплатно, как побочное следствие госпрограммы по уничтожению борщевика в России.

— Такое количество?!

— Ну, так и борщевика было много! Размеры России представляете? Госпрограмма оплачивала нам из бюджета искоренение ядовитого борщевика в стране. Его на свалочных пунктах скопились горы. Содержание сахара в нём — выше, чем в сахарном тростнике и сахарной свекле. Мы просто кинули его под валки, под зубцы — и вот вам горы сахара!

— А в чём тогда проблема? — недоумевал Ласло. — Не украли же...

— У нас есть такой чиновник, Пржимонский... Авторитетный товарищ... Он полагает, что нам оплатили утилизацию, а не переработку борщевика. И мы не имеем права вторично получать за него деньги. Нашёл какие-то законы, в нашей путанице законов чего только не найдёшь! Ну, логика понятна: неоправданное ценовое преимущество, монополизм и всё такое...

— И что он предлагает? Сахар в реку высыпать?

— Кратко говоря — настаивает именно на этом.

— От такого количества сахара ваши рыбы в реках станут кондитерскими изделиями...

— Ну, может, ему этого и нужно, — пожал плечами Совенко. — Может, он как раз экологической катастрофы и добивается... Отсюда и скидка, чтобы вы могли взять наш сахар и выдать за собственный!

* * *

Ласло Омень по кличке Омен, разумеется, не мог знать, что незадолго до его приезда его, как вариант, прощупывал пальцами весь топ-менеджмент легендарного и таинственного «Биотеха». Высотный «аквариум» залы заседаний совета директоров волшебной корпорации плыл где-то в облаках, куда прохожим смотреть — шапка свалится, гранёным кристаллом яркого, как в операционных, освещения.

Гости ночи, вампиры столицы, сгрудились убористо у одного из углов огромного стола-треугольника, «в миру» предназначенного для посиделок совета директоров. Сбились вожаки большой стаи, близким узким кругом «директоров над директорами».

Пили немного остывший кофе, потому что разговор их требовал выставить услугу за тройные звукоизолированные двери с датчиками антипрослушки.

— Пржимонский достал! — ругался в овале мёртвого света, смутно отражаясь в шлифованной каменной тверди боковой колонны, Максим Львович Суханов. — Надо просто пойти и всё о нём доложить высшему руководству страны... Он сознательно и небескорыстно гробит экономику...

— Кто знает... — прижмурился Совенко, почти мурлыча. — Кто знает истинные цели высшего руководства страны? А если они Кошму за это не накажут, а наградят?

— Он может сгореть в пожаре... — предложил со своей стороны Никита Питрав. — Он может вылететь на машине с моста... там, где высоко...

— Войну начать легко, — умиротворяюще поднял ладонь Виталий Терентьевич. — Но никто, начинающая война, не знает, чем они закончатся.

— Когда мы были на торжественном рауте в кабинете министров, — промурлыкала плотоядно очаровательная Ева Алеевна Шарова, — я так, чисто поженски... прибрала к рукам его бокал с отпечатками пальцев... Там же недорогие бокалы, по госзакупкам, никто и не хватился...

— И что?! — недоумевали мужчины в зловещей яркости залы совета директоров, слишком большой для такого узкого круга лиц.

— А недавно ему зуб удаляли... — змеилась Шарова, и казалось, у неё меж губ мелькает змеиный язычок. — Такому-то человеку где попало не будет удалять... Короче, мальчишки, у меня в автоклаве его зуб, слюна и кровавая ватка... То есть — живое ДНК Яна Янкелевича Пржимонского...

И все замолчали — завороченно глядя на гибкую гадюку с холодными глазами рептилии. Не только

потому, что уважали Шарову, но ещё и потому, что на неё лишний раз взглянуть приятно. На ней был чёрный деловой костюм — приталенный жакет, брюки «дудочкой», обуженные понизу, у острых высоких каблук. Под пиджаком Евы — белый топ с тоненькими бретелями. В нагрудном кармашке — декоративный платочек в «виндзорскую клетку». В плавном течении жестов женщина переливалась, как ртуть: в гладкой тончайшей английской шерсти костюмной ткани мерцали, будто игриво подмигивали деловым партнёрам, вкрапления лайкры. Пуговицы Шаровой не просто «сделаны» — они ювелирно «выполнены» из слоновой кости.

Из-под рукавов, когда она изящно жестикулировала, выглядывали острые косточки на тонких, казалось невесомых, запястьях. Стрижка «шэг» с некоторым эффектом лохматости молодила её и одновременно выводила из безликости делового гардероба.

— К чему ты клонишь, Евуль? — не выдержав интриги, нарушил благоговейное молчание мужского коллектива туповатый Питрав.

— Ну, мало ли в Москве мест преступления? Выберем, какое посolidнее, и там будут бокал с отпечатками Яна Янкелевича, образцы ДНК Яна Янкелевича...

— И что, обычная криминальная полиция возьмёт Пржимонского?! — скривился в лимонности скепсиса Суханов. — Как Станиславский: не верю! Только какого-нибудь товарища майора подставим, который сунется такую фигуру допрашивать...

— Ещё раз повторяю! — чуть повысил голос босс среди этих фантазёров. — Начать войну легко, закончить потом — трудно. Куда эта кривая вывезет — заранее не скажешь.

— Ну, а что с Пржимонским прикажешь делать, Алик?! — чуть не заплакал Максим Львович, душой за дело болея.

— А ещё у меня есть баночка из-под колы с отпечатками его сына Толика, — кидала варианты Ева Алеевна. — Образцы его ДНК, в том числе спермы...

— У тебя там коллекция, что ли?! — ревновал Питрав, чувствуя, что со своими грубыми методами против Шаровой он всё равно что плотник супротив столяра.

— Конечно, коллекция! — пожалала она худенькими плечиками. — Слюна, волосы, ногти, окурки сигарет, зубные щетки, буккальный эпителий, салфетки и марли с кровью... Всех значимых фигур. В отдельном холодильнике — консервированное семя с простыней их оргий. Могу через нашу лабораторию клонировать любого из федеральных министров!

— Ева, ты же вообще-то бухгалтерию у нас ведёшь! — почти простонал Суханов, глядя в упор на прыткую женщину.

— Так это и есть бухгалтерия! — Шарова сделала вид, что удивилась претензии. — Одна пивная бутылка с пальчиками, поставленная в нужное место, порой экономит корпорации миллиарды рублей...

— Знаешь, — пошёл в контратаку Питрав, — несчастный случай тоже можно очень правдоподобно изобразить...

— Вы такие болтливые! — поморщился босс, отпивая кофе из маленькой чашечки. Блюдце и серебряная ложечка на нём, вазочка с нехитрой выпечкой — перевёрнуто удваивались отражениями в зеркальной глади столешницы. Пенка капучино осталась у него усиками над губой. — И всё время путаете доступное с целесообразным!

— Алик! — обиделся «близкий друг» и первый зам. — Мы хотим как лучше...

— Нашли «лучше»! — разворчался шеф постариковски. — Живого человека за мешок сахара угробить!

— А вот сахар тут совсем ни при чём! Проживём без сахара, нам этот товар погоды не делает... Просто сколько можно?! Первый раз, что ли, этот Пржимонский...

— Мак! — укоризненно перебил Совенко. — Ты же всё-таки юрист по образованию! Ты же знаешь, что такое превышение мер самообороны!

— Статья сто четырнадцатая УКа Эр-Эф, — заговорил в Маке юрист. — Легко запомнить, Алик! Год начала Первой мировой войны!

— Нельзя использовать против кулака нож, против ножа пистолет... — напомнил академик.

— Да к чему ты это вообще?! — почти уже взорвался первый зам.

— К тому, что Ян Янкелевич — правовед. Он использует против нас юридическое оружие. Если бы Кошма пытался кого-то из нас убить — он бы, как Президент говорит, «трёх дней не прожил»! Но вежливость его делопроизводства требует ответной вежливости... — Совенко сурово зыркнул на Питрава, и тот, как нашкодивший школьник, опустил глаза. — Несчастный случай! — передразнил «безопасника» и перевёл колючий взгляд на Еву: — Отпечатки, сперма! Может, ещё Молоху младенца в жертву принесём?!

— Но, Виталий Терентьевич... — затараторила Шарова, из таинственной «вамп фаталь» мигом превращаясь в обычную бабу, получившую нагоняй. — Я же имела в виду...

— Алеевна, я очень ценю всё, что ты имеешь в виду, — смягчился Совенко. — Но, понимаешь, фея сердца моего, к волшебной палочке неплохо бы иметь в комплекте голову. Трезвую. Чтобы не трясти чудьями, где не надо!

— Всё поняли! — умильно, как пёс, сподхалимничал Питрав, снизу с прогибом заглядывая в глаза шефу. — Списываем борщевистский сахар в упущенную прибыль...

И опять не угадал.

— Я не призываю сдать! — сказал Виталий Терентьевич, снова отпивая кофе мелкими глотками. — Но если против нас используется юридическое оружие, то и ответ мы должны поискать юридический.

— Против Кошмы-то?! — заволновались сразу все соратники. — Это ж Пржимонский, ему и чай-то заносит не иначе, как кандидат юридических наук! Да и потом, формально-то он прав: нам же заплатили уже за устранение борщевика по нами же представленной смете! Получается, нам этот сахар дали бесплатно и с приплатой, а мы им теперь торгуем!

— В этой позиции Яна Янкелевича есть элемент начётнического формализма, — припомнил Совенко партийный язык, язык обкомов и незабвенной Старой Площади. — Вопиющего!

— Ну ему же этого не объяснишь! — досадливо хлопнул ладонью по столу Суханов.

— А ты пробовал?

— Да я и пробовать не буду... Чего я, Пржимонского не знаю?! Он в молодости поураганил, не спорю, а потом туго понял, что закон сейфы ломает ловчее фомки... У него уж лет десять любимая поговорка — «Pereat mundus et fiat justitia»¹.

— А ты откуда знаешь? — шурился ироничный академик.

— Крысу во мне увидел?! — возмутился Суханов.

— Я без подначки.

— Материалы собирал я, Алик. Для тебя и для дела. У меня тоже свои автоклавы есть и свои холодильники... Не проходит дня, чтобы Пржимонский не повторил этой поговорки! Источник тебе нужен? Аарон Еноп, его помощник... Удовлетворён?!

— Глубоко. Как, бывало, Леонид Ильич удовлетворялся.

— Значит, все сахара в воду?! — деловито поинтересовалась Шарова, потому что утилизацию, несомненно, поручили бы её хозяйству.

— Почему в воду?! — округлил глаза босс. — Вы максималисты, как дети малые! То убивать за сахар собирались, подставлять под расстрельные статьи, то теперь на помойку его предлагаете...

«Хорошие они ребята! — в то же самое время думал Совенко о тех, кто за долгие годы стал ему, по сути, семьёй. — Но дай им волю — всё кровью залиют! И с благородной целью — выкорчевать зло... А дай волю злу — оно сожжёт и отравит весь мир. Вот и мечаемся между крайностями!»

Чтобы простым, наивным обывателям спокойнее спалось — им врут, с психотерапевтической целью, что их защищают законы, правоохранительные органы, политические институты. И только Хранители — те, кто принимают конечные решения, владеют ключами от Ничего, открывающие в Ничто всё, в тёмном однообразии смерти — пёстрое многообразие жизни, — знают правду.

О том, что законы — в сущности, самовнушение подавленных; «правоохранительные органы» — любимое самоназвание для умных бандитов; «политические институты» — театральные декорации, ширма стыдливого переодевания монстров, не желающих, чтобы их видели голыми... Обязательно есть

¹ «Пусть погибнет мир, но свершится правосудие» (лат.).

тот, кого римское право, кстати говоря, аннулирует тем самоё себя, — вычислило с логической неизбежностью в формуле «Рим высказался — дело закрыто». Хранителю не за кого и не за что прятаться. То, что он решил, — пересматривать уже некому. Он не может сослаться на закон — потому что сам создаёт и отменяет законы, лепит их, как пельмешки, из первобытного зоологического чавканья. Он не может сослаться на прокуроров, потому что сам же придумал кого-то назвать «прокурорами», склеив их условность из безусловности права силы. И он не может надеяться на процедуры, вроде выборов или кадровой политики, — потому что сам же ваяет эти формы из равнодушия космической пустоты. У Хранителей есть только две вещи: исходное Ничто и ключ от ничего. Ключ, открывающий Ничто и превращающий Ничто во что-то то или иное, по усмотрению владельца...

Единственное, что остаётся Хранителю, формирующему жизнь из смерти в произвольных формах, — молиться Богу. Молиться о мудрости, потому что решённое Хранителем — уже некому исправить, по крайней мере, на Земле.

Хранитель — таинственная мистическая фигура, которую нельзя ни выбрать, ни контролировать. По той жестокой, но необходимой очевидности, что ключ окончательного решения не может быть ни от кого зависимым. Иначе он перестанет обладать окончательным решением: оно перейдёт к «сторожу над сторожами!» Ничто безразлично ко всему, что с ним делают. Оно смирится, если уголовного возведут в ранг федерального министра и выше. Оно смирится — если его убьют. Или если не убьют. Или посадят. Или наградят. С равнодушной жестокостью космической ледяной пустоты Ничто сваливает бремя решения на плечи Хранителя. И вдруг понимаешь, что между вселенским злом, пресекающим всякую жизнь на Земле, и человечеством, там живущим, — не стоит ничего, кроме тебя! И что произвол твоих решений, которые тебе не с кем согласовать, разделить, — определит, какой быть жизни завтра, а главное — быть ли ей вообще? Ну, добавится в космической пустыне ещё одна мёртвая планета — одной больше, одной меньше, мало ли там, в космосе, мёртвых планет?

Не желая всеобщей гибели, Хранитель придумывает какую-то форму, заливая в эту форму аморфную биомассу. Он создаёт или разгоняет колхозы, вводит и отменяет права и обязанности, он объявляет законным то истребление крестьян помещиками, то истребление помещиков крестьянами... Биомасса сама по себе бесформенна и легко принимает любую из навязанных форм.

Конфликт форм возникает лишь там, где Хранители столкнулись между собой. И тогда бытовая реальность сбоит, раздваивается, словно в кошмарном сне: «отец народов» становится «злым тираном», а потом обратно, «батяка» — «нелюдью», проклятое — благословляемым, и наоборот. Сигнал

приёмника у масс становится плохим, изображения резко и внезапно меняются, выскакивает то одна картина мира, то другая, и нет никакой логики в их сменах.

Разве не стало бы слово Гитлера высшим и окончательным законом, мерилем всякой истины на Земле, прогибающим всё живущее или умирающее (что в принципе одно и то же — жить и умирать) под себя — если бы не сказал своего хранительского слова товарищ Сталин? И кто из них на какой закон опирался? И в каком суде можно обжаловать итог их тигриной схватки? Просто они столкнули две альтернативных модели Вселенных. И сталинская оказалась чуть-чуть сильнее...

Конечно, масштаб нынешних вопросов в зале заседания совета директоров корпорации «Биотех» поменьше, но принцип-то действия тот же самый. Из ничего не выйдет ничего — если не имеешь ключа перехода. Из ничего выйдет всё — если владеешь ключом от ничего. Тогда можешь сделать из ядовитой жгучей травы, отравляющей животных, оставляющей на человеке страшные рубцы ожогов одним касанием, — сахар. А потом этот сахар — снова, то ли благо, то ли ничто. Закон — что дышло, куда повернёшь — туда и вышло. Ничто может стать прибылью по советской формуле «отходы в доходы», а может стать убытками от утилизации.

Чиновник и блестящий знаток судебно-юридической казуистики Пржимонский может завтра умереть — и все будут думать, что по естественным причинам, а может остаться жить — и никто не узнает, как сильно он рисковал в ту ночь.

И волшебные решения, превращающие ничто в нечто, а нечто в ничто, — удел Хранителя, допившего маленькую чашечку кофе, а следовательно — «решившегося решать». Можно, конечно, ещё выкурить сигару, тем дав себе дополнительное время для раздумий. Но это — уже уловки прокрастинации, с точки зрения Виталия Терентьевича Совенко...

— Так что же делать-то?! — устал от его ребусов простоватый Никита Питрав. Было поздно, и он — тоже ведь в годах, хоть и моложе босса, — желал спать. К тому же он сегодня ещё не ужинал. Ему надоело предлагать — и теперь он просто приёмник конечной воли.

— Я вам сказал уже, — не только Никите, всем разъяснил Совенко, — юридическому наезду найдём юридический ответ.

«Юридическим» — если выразаться фигурально, потому что иначе непонятно, что тут юридического, кроме толстовского «непротivления злу силою» — ответом и стал венгерский сахарозаводчик Ласло Омень по прозвищу Омень...

* * *

— Лера, загляни ко мне, детка! — промурлыкал он в мобильник, кое-что по случаю придумав.

— Не вопрос, — говорит эта чертовка. — Эротическое бельё надевать?

— Подождёт до вечера... — глазом не повёл Сovenко.

А когда пришла — объяснил, зачем звал. Кратко говоря — «не за этим».

Более развёрнуто:

— Лерочка, Солнышко, у тебя есть такой молодой знакомый, прозванный Кулером...

— Он вам не конкурент, дядя Алик! Кишка тонка, и ниже тоже...

— Он недвижимость коммерческую сдаёт?

— Не знаю, сдаёт ли, но пытается и мечтает...

— Ты можешь у него снять пару этажей под алмазный департамент?

— У него с подходящими условиями хранения ювелирки... У него таких объектов нет...

— А вот и хорошо, что нет... — ласково ворковал «дядя Алик», как будто у него и правда с этой девчонкой романтическое свидание. — И прекрасно, что нет... И не надо, чтобы было... Мы с тобой, лапушка, алмазики-то положим на видное место, беззащитными... И просьба к тебе будет: стань небрежной! Это так идёт к твоей молодости и красоте! Стань небрежной и выложи графики перемещения алмазных партий на рабочем столе так, чтобы он видел!

— Дядя Алик, Кулер мне не друг, а шапочный знакомый... Просто случалось тусоваться в одних компашках... Кулер играет в гангстера, особенно когда папа его в расходах урезает! Он накакал кучку отморозков, которая считает себя «крутой бригадой» и смотрит Кулеру в рот...

— Хочешь сказать, попрут они камушки из не оборудованного помещения? — хитро лыбился Сovenко.

— Да, скорее всего... Скажут... — Лера довольно правдоподобно изобразила пацанские кривляния в узком кругу: — «такой шанс выпадает раз в сто лет» и всё такое...

— Так вот, понимаешь, Лерочка... — Сovenко перешёл на интимный шёпот: — Я этого очень хочу. Кулер наведёт, мы его отморозков тёпленькими возьмём, а через них выйдем на Кулера...

— Это легко, — недоумевала Лера, — но на кой чёрт нам Кулер сдался?! Он же говно без палочки!

— А это уж мои дела — зачем мне кулер в офисе...

В тот день они с Лерой пообедали вместе, Лера гордилась «близостью к телу», а Сovenко нашёл наконец умную собеседницу, способную понять его разглагольствования. Разговор с ничтожной личности рэпера Кулера соскочил на паразитизм «элиты» в целом, которая не только умудряется, но, если подумать, то и обречена презирать народ, внутри него колонией глистов паразитируя. Ведь как не презирать то парнокопытное, которое проблемы паразитов в собственном чреве и не понимает, и не решает...

— ...А только покорно, бездумно и оглушённо кормит их!

— Народ ведь не сам себя кормит! — запротестовал Сovenко. — Народ кормят энергичные, не-

многочисленные и, как правило, одинокие интеллектуалы...

И потом он рассказывал Лере Очепловой, по сверкающим глазам её видя, что ей это действительно интересно, потому что девчонка она въедливая, любопытная от природы, как обнаружил в советское время четыре миллиона тонн отходов плодоперерабатывающей промышленности.

— Все эти обрезки, очистки, сердцевинки... Когда заводы в промышленных масштабах консервируют овощи и фрукты, у них отсев больше выхода!

Лера увлечённо кивала. Она понимала, что ей открывают тайну денег. Не денежных знаков, которые лера может передать любому просто из прихоти и каприза, а именно денег, исходных, первородных. Тех, которые из земли, и, по большому счёту — технология превращения отходов в доходы.

Предприимчивый не в меру дядя Алик, вместо того чтобы в микроскоп смотреть, шатался по городским свалкам и находил там горы клетчатки. Миллионы тонн ежегодно! И до него эти горы просто сгнивали, к тому же отравляя природу.

Сам себя не похвалишь — весь день как оплётанный ходишь, и дядя Алик бесстыдно хвастался молоденькой сотруднице:

— А я придумал кормить ими специальных гусениц. Вроде бы немудрёное дело, но как подступить? Каждая из гусениц ест своё, а ведь всё в куче, говорили мне. И сортировать эти завали слишком дорого. Значит, ответил я, нужны такие гусеницы, чтобы жрали несортированное!

И он таких нашёл, взяв за основу двулётную листовёртку, у которой разные поколения гусениц едят кто бутоны, кто цветки, кто плоды, а кто аж кору может глотать. В итоге у него уже много лет из горы несортированных очистков получается гора мясистых гусениц, а это в итоге гора высококалорийных белковых кормов...

— Но не это главное, — настаивал он, наклоняясь к Лере интимно, с бокалом вина, — поучительным считаю мой общий принцип: любую живую ткань можно преобразить в любую другую живую ткань, либо сразу, либо опосредованно, через несколько переходов.

— Грандиозно! — хлопала она ресницами. И не льстила: переработка миллионов тонн — конечно же штука грандиозная, даже если речь идёт о гниющем вонючем мусоре свалки...

— Ты, разумеется, не станешь кушать порошок или пюре, натёртые из гусениц, но свинья-то это ест с удовольствием... А в итоге получается свинина. Два перехода — и куча вонючей гниющей ботвы превращается в свинину, понимаешь? А вот теперь твой вопрос: народ ли эту свинину создал или я?

— Вы, дядя Алик!

— Вот! — Он был удовлетворён её восторженным лучистым взглядом в упор. Что старый, что малый, много ли для счастья надо? И, очень довольный, он продолжил делать себе комплименты: — Народ ве-

ками ходил мимо нагромождений очистков и нос зажимал, к этому вся его историческая роль и сводится. А сделал-то я.

— Дядя Алик, я же не спорю! — Валерия почуяла в словах покровителя какой-то полемический оттенок, будто кто-то ему активно возражал.

Поскольку Лера с ним спорить отказалась, дядя Алик стал спорить сам с собой:

— С другой стороны — народ сделал меня. То есть народ создал меня, а я его кормлю. Понимаешь?

— Ну, спорный вопрос... — замылась Очеплова.

— Ничего не спорный! Народ взял это писклявое существо в пелёнках, — он указал вывернутым жестом себе на впалую грудь, — кормил, одевал, учил, лечил, воспитывал, в академики вывел — разве не молодец? Для того народ меня и поднимал, чтобы я в итоге его смог накормить. Это правда. Как и то правда, что народ сам себя не кормит...

7

Оставшись один, он рисовал странные схемки золотопёрой Waterman Carene, усыпанной бриллиантовой пылью. Чиркал грубые картинки в ежедневнике «АО Биотех» с обложкой натуральной телячьей кожи и замшевыми вставками, лазерной гравировкой корпоративного логотипа, вождьскими страничками премиум-класса цвета слоновой кости, на каждой из которых был орнамент из всяких извращённо-выпуклых «колосьев-плодов».

Кулер — Кошма — его почерк был неряшливо-докторский, как курица лапой. От Кошмы стрелочка к Панасу Лотереенко, от Панаса — к слову «Украина». Вопросительный знак. Россия. Ещё один знак вопроса. Израиль. Еврейское начальство «мешает мешать» организации еврейских погромов?!

Жизнь — такая странная штука, особенно когда рухнули указатели и бытие свернулось в саможрущую бесцельность агрессивной биомассы постсоветизма. Впрочем, политическая агитация — всегда плоская, пошлая и примитивная — даже когда говорит чистойшую правду: потому что она лишена полноты и всегда перекошена, как флюс, на какую-то сторону. Истина же в том, что есть два понимания государства и народа — и вместе им не сойтись...

Одни говорят, что государство и нация рождены служить великой цели. Они — лишь инструмент высшей миссии. Если так, то оправдание их насилий и перегибов — в итоговом величии того, ради чего они существуют. Так молоток, разбивший плотнику палец, — материм, но не выбрасываем.

А другие говорят, что государство существует само для себя, никакой иной цели, кроме самосохранения, не имеет, а потому для всех, кроме себя, бесполезно и бессмысленно. Раз так, то и государства и нации можно как угодно кроить, делить или, наоборот, сливать, сшивать, потому что речь идёт об

игре с нулевой суммой. Государство такого типа — простейший биологический организм, паразит, присосавшийся к питательной поверхности планеты и методично истощающий донорскую среду, и единственный продукт его бурной биологической деятельности — выделяемые им токсины и испражнения.

За трескотнёй политической пропаганды начинаешь прозревать то, что гораздо важнее и страшнее дрязг «зомбо-ящика». Видишь как на ладони: вот некие плохие дядьки, печатающие деньги, высосали из пальца химеру, в которой нет ни одной живой клеточки, ни одной коацерватной капельки реальности. Просто так выдумали нелепицу, очевидный вздор — а потом денежку заплатили...

И всё завертелось! Химеры, сотканые из одной лишь дешёвой синтетики и трупных кусков Франкенштейна, сшитые грубыми швами, — оживают, двигаются. Химера обнаруживает способность покорять умы! Появляются не только те, кто за неё убивает, — наёмных убийц, этого-то дерьма, хватало во все времена! Но хуже: и те появляются, кто умирать за химеру готов: истерически взведённые, экзальгированные, полностью перепрограммированные, с замешённой экспериментаторами личностью...

Они творят химеры — а потом не просто подчиняют им, но ещё и влюбляют, производя какие-то совсем уж жуткие мутации ума и духа, расщеплённое сознание, которое про химеру твёрдо и одновременно помнит две вещи: то, что химеру лепили прямо у него на глазах, и то, что «химера была всегда». Постсоветские химеры лепили с запредельной бесстыдной скоростью и наглостью, присущей тем из банкиров, которые твёрдо убеждены: «пипл схавает».

Но как вообще всё это работает?

Немец рождается в Германии, учит немецкий язык, впитывает в себя германскую жизнь — и потому считает себя немцем. Если его в младенчестве перевезти в Россию, то он будет русским, а если в Бразилию — то он будет лопотать на бразильском наречии португальского. Получается, что исходная чурка, из которой папа Карло строгаёт украинцев, немцев, русских, — стандартное полено. Кто до него с топором доберётся, тому и решать — за какой диалект португальского Буратинке идти на плаху...

Люди, которые решили не кормить собою химер, в итоге запираются где-то в дальней пустыни, окукливаются там в молитве и совсем не смотрятся психически здоровыми. По крайней мере, на людской стандартный взгляд.

О жизни интересно сказал доктор агрономии Навга Думаль, когда объяснял социалистический выбор своей партии и республики: «Социализм — выбор бедных наций. Им нечего терять. Почему бы не попробовать — хуже-то не будет! А капитализм — соблазн богатых народов: им есть, что делить...» Это, в общем-то, складно объясняет, почему одни страны кипят под красными знамёнами, а другие истекают липкой испариной приватизационной похоти.

* * *

«Авторитет» Кошма материл незадачливого налётчика Кулера. Материл изошрённо, истерично, приложив парой крепких затрещин. Кошма вообще убил бы Кулера, если бы не одна деталь: Кошму в миру звали Ян Янкелевич Пржимонский, а Кулера — Анатолий Янович Пржимонский...

— Ублюдок! Пидарас! Из-за таких, как ты... Ты что о себе возомнил?! Ты хотел Филина трахнуть?! Ну спасибо, сынок, спасибо! Ты отца родного под Филина подложил! Тупой баран, думаешь, он просто так арендовал у тебя помещение? Совершенно не подходящее для хранения бамбриков! Да он тебя вёл, как партнёру в танце, от первой точки до последней! Ты даже не представляешь, шлимазл¹, даже не представляешь — на какую сумму он нас поимел!

Кошма кипел от негодования. Снова дал сыну затрещину, приговаривая с интонациями плакальщика на похоронах:

— Камушки он взять решил, где плохо лежат! Налётчик сраный! Да я бы таких ховинок² тебе купил, пидор, десять к одному, если бы только это помогло выйти из ситуйёвины! Грязный поц, весь в мать, жирную шлюху, такой же долбанутый, как она...

Ян Кошма бил сына терпкими, пряными пощёчинами, а сам вспоминал, как стоял, выйдя из своего Lincoln Continental под шорохом тополей возле дачной речки, вдаль от посторонних глаз, тиская бутылку минералки в руке «от нервов» и ожидая в безлюдном местечке Совенко, а потом слушая от босса «Биотеха» всякие гадости:

— Ваш сын, Ян Янкелевич, хотел меня трахнуть... — воркующим баритоном почти пропел Совенко. — Но для меня он слишком молод. Предпочитаю с его отцом...

Филин — птица ночи. Схватит — не выпустит. Когтя беспомощное астральное тело Кошмы, Филин открыл дорожный автомобильный хумидор и предложил сигару. Пржимонский, из вежливости и чтобы потянуть время, поинтересовался, что за сигары. Неторопливо взял, неторопливо затянул от ритуальной щепы... А мысли в этот момент лихорадочно метались.

— Что за табачок? Приятный...

— Марка сигар называется «Ромео и Джульетта»... — скалился Виталий Терентьевич. — Как раз для нас...

— Виталий Терентьевич, давайте без прелюдий... — капитулировал Ян Яковлевич, недаром в деловых кругах прозванный Яном Кошмой. Кошма — не потому, что кошмарил, хотя и это умел, но больше оттого, что умел, как кошмой, притушить разгорающиеся противоречия, накинуть войлок на пламя взаимного непонимания приватизаторов. И загасить. Скольким он в 90-е жизни спас — и не сосчитаешь!

¹ У евреев — бранное слово, означающее придурка или неудачника.

² Уголовный жаргон — обозначает драгоценные камни.

— Что вы имеете мне предъявить за косяк моего Толика?

— Да малую толику...

— Хотелось бы поподробнее...

— Ну, судите сами, Ян Янкелевич, карты на стол! Налётчиков взяли с поличным. Налётчики указывают на организатора: Толю Кулера. Я не думаю, что Толя Кулер — Анатолий Янович Пржимонский. Но всякое бывает, могу и я ошибаться, интуиция уже не та... Не будем мальчика беспокоить, кто в молодости не ошибался?

— Но?

— Все ваши «вето» по АО «Биотех» в сфере госзакупок придётся снять...

— Это само собой.

— Видите! — обрадовался Совенко. — Нам только надо было встретиться! Честно говоря, уже который год мне ваша виза... — Совенко постучал себя ребром ладони под кадык, изображая острую нужду и «край», — вот как нужна была! И я всё думал: надо бы мне лично встретиться с Яном Янкелевичем, лично поговорить, разъяснить всю прискорбность взаимного недопонимания... А всё не получалось — то я в командировке, а чаще, — Совенко игриво погрозил пальцем, — вы бывали заняты... Вот видите, встретились наконец, и как рукой сняло! Я знаю, что с нашими конкурентами вы давно работаете, привычка, всё такое... Но с нами-то вам выгоднее работать, Ян Янкелевич! Ей-богу! Мы ведь из агрономов, у нас принято уважать Катона-Откатона... Для начала, на двадцать процентов больше ваших старых друзей, а?

— Главное, чтобы с Анатолием всё было нормально... — простонал Пржимонский, картинно закрывая выпуклые глаза ладонью. Сам же прикинул, как положено деловому человеку: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

— С Анатолием всё будет нормально! — заверил Совенко, прижимая руку к сердцу. — Ну что я, молодым, что ли, не был? Шалостей их не понимаю? Если бы Анатолий пришёл ко мне, нормально, по-человечески, попросил алмазов — разве бы я, из уважения к вам, не дал бы? Ну зачем это нужно — полумаски какие-то, пистолеты, мы что, в Чикаго?!

— Это их всё фильмы голливудские портят! — промямлил жадно пьющий минералку Пржимонский-старший. — Насмотрятся, и...

— Невоспитанная молодёжь пошла, — участливо накрыл своей рукой ладонь Яна Янкелевича Совенко. — В наше время стариков больше уважали...

* * *

Гроза и ужас банановых агрономов Центральной Америки Никита Александрович Питрав имел свои методы работы с провинциальными отморозками. Его послали в маленький городок чернозёмной зоны, в жару и пыль, узнать, кто ворует масловозы с водов, принадлежащих корпорации. Точнее ска-

зять — кто «пи...т» цистерны постного масла: иначе в его кругу общения не выражались. «Воруют» — это слово стало означать в деловом языке нечто почтенное, а тут-то именно «пи...ят»!

А он не хотел в городке с говорящим названием Сальск долго слушать тишину почти безлюдных улочек и потому первым делом нашёл глазами самый дорогой в городке автомобиль. Проверил по номеру — местный, не приезжий. «Геленваген» с золочёным сверкающим покрытием и напылёнными высокохудожественными картинками разного зверья был припаркован под окнами местного отеля.

Питрав, не затягивая, прошёл в соответствующий замыслу номер, не обращая внимания на жильца в полосатых трусах, выдернул из сети кубический, старинных форм телевизор. Прикинул на руке: тяжёленький!

— Кто вы такой?! — пищал гость отеля. — Что вы себе позволяете?!

— Сейчас в этот номер, — объяснил Кит с улыбкой, — придёт местный бандитский «бугор». Начнёт махать волевой, шмальнёт куда попало... Если вам это интересно, то оставайтесь, я не против. Но если опасаетесь — лучше вам покинуть помещение...

— Я оплатил номер на двое суток вперёд... — робко возражал жилец, уже натягивая, однако, брюки. Один из помощников Кита, молчаливый громила в кожанке, сунул ему в руку компенсацию — на пять суток вперёд.

— Есть ещё вопросы? — уже сердился Питрав. Но, хоть спросил, больше на съёмщика номера внимания не обращал. Вышел на небольшую лоджию, которые любили делать в 70-х для курения трудящихся, и выбросил оттуда чёрный пластиковый куб телевизора прямо на крышу внедорожника...

— Теперь ждём.

«Авторитет» ворвался в номер скандалить, в своей местечковой самоуверенности плохо оберегая тылы. Его и его спутников ткнули сзади стволами в затылки, положили на палас лицами вниз.

Ну, а дальше, кратко говоря, Кит Питрав узнал всё — с помощью доброго слова и ласкового лязга затвором автоматического пистолета.

Цистерны с товарным подсолнечным маслом, идущим на линию розничного розлива, «пи...ят» местные гоп-стопари. Само по себе масло от «Биотека» им не нужно, они отгоняют цистерну в место за сады на фуры с дорогими потрохами. И там выливают на дорожное полотно, чтобы с помощью масляных луж устроить дальнобойщикам аварию...

— Ну, парни, дело так! — разрулил Питрав. — Я мараться о вас не буду, я вас всех ментам сдам...

— Или? — поинтересовался альтернативой главарь «стопарей».

— Что?

— Всегда бывает «или»...

— Ну, наблатькался, пацан, базовый курс деловой речи знаешь! — одобрил Питрав провинциала в

спортивном костюме. — «Или» у нас будет такое. От вас — компенсация за разлитое масло. В двойном размере.

— Почему в двойном?

— Как в библиотеке за утерянную книгу! Любишь библиотеки?

Гопарь библиотек не любил, но чувал, что об этом лучше не распространяться в сложившейся ситуации.

— Это вы оплачиваете масложировому комбинату «Южойл», мне — копию платёжки... Впредь Цистерны не трогайте и даже охраняете по мере возможности. Остальное меня не волнует. Те грузы, которые вы на масле разблеживали, — не наши. За них пусть отправители непокои мают! Но если кто-нибудь из вас ещё хоть раз спи...ит хоть что-нибудь под маркой «Южойл»...

— Вкурили, брат, вкурили!

— Вот и ладушки. Чего мне тут у вас сидеть? Поеду я от вас! Пожилого человека вы заставили через полстраны по жаре ехать... На вашем месте я бы мне хоть отвальный банкетик заказал, загладить...

Ужинал он в провинции, помпезно. Как говорится, «забытый вкус натуральных продуктов». Завтракал уже в столице, скромно, в режиме здорового питания, и совершенно справедливо полагал, что загоняли его на службе. Пора на покой.

Питраву было за пятьдесят, он следил за собой, но как ни следи — всё равно непонятно, зачем в таком возрасте такие приключения? Питрав подготовил целую плеяду молодых «оперов» на роль старшего корпоративного следователя, и когда Совенко, обидно-невнимательно выслушав доклад о проблемах масличного жома на «Южойле», ни с того ни с сего предложил ему ехать в Экваториальную Африку — от изумления рот раскрыл.

— Куда?! Охранять Валерию Дмитриевну? В мои то годы? Сразу навскидку вам из отдела: Шлумов, тридцать два года, Лучок, ему меньше сорока, точно не помню, и...

— Какой тебе лучок-чесночок? Говорю же, дело особое, я же просто так тебя дёргать бы не стал...

— Ну, а чего особенного? Директора департамента охранять? У нас департаментов двенадцать, как братьев-месяцев! Мне на двенадцать кусков разорваться?

— Ну... так сказать... — Совенко смутился, и в таком состоянии Питрав его ещё никогда в жизни не видел. Это было очень комично — как волк, зарумянившийся во всю щёку. — Ты человек свой, надеюсь, будешь держать язык за зубами... Кратко выражаясь — она моя дочь.

— Ах, вот оно что! — всплеснул загребушими лапами Питрав. — Так это вы её по-родственному, в самое пекло, в Среднюю Африку?! Интересные у вас в семье традиции...

— Помолчал бы, клоун! — осёк босс. — Я зачем тебе сказал? Чтобы ты понял, почему я хочу видеть возле неё самого надёжного и самого проверенного

безопасника... Чтобы безопасник был, а не безобразник... Место лютое, ты прав, ситуации могут быть разные... А она же ещё девушка! — Он засмутился сверх прежнего и стал ещё комичнее. — Ну, по крайней мере, как я надеюсь... Скорее всего...

— Я не гинеколог, — осклабился Питрав. — Но проверить могу!

— Я те-е проверю! Я те-е проверю! — Совенко поднял руку в подобие лицехвата из фильма «Чужие», ловя в пятерню наглую харю. — Я тебе сортовой кабачок в зад засуну, а ты знаешь, какие у нас в «Биотехе» кабачки! Твоя задача, Кит, чтобы ни один волос не упал с Лерочки... В том числе и лобковый волос, ты понял? Будь всегда при ней. Ты мне там нужен, Кит. Старая гвардия! Я тем, кто моложе тебя, не доверяю, понимаешь? Как там у Пушкина-то: что-то тра-та-та —

— Что? Кого? Кому? Опять?
— Собираем третью рать!
Время, видимо, пришло
Стариков пускать нам в дело!

* * *

Гостью из первоклассной столицы стиля Москвы Леру Очеплову забавляло своей безвкусицей аляпистое окружение президента Средней Африки господина Пумá. Они, конечно, старались — снисходительно думала Валерия. Они очень серьезно подошли к вопросу внешнего вида перед встречей с русской делегацией.

Супруга лидера выбрала для церемонии свободное, но закрытое белоснежное летящее платье в пол с вышивкой посередине. Образ был дополнен черным клатчем и минималистичным жемчужным ожерельем. Получилась невеста на деревенской свадьбе, а не «первая леди»!

Одежду большинства министров отличало большое количество деталей, которые знаток Африки мог бы назвать «данью уважения африканской культуре», а тусовщик — сравнил бы скорее с карнавалом в Бразилии. Какие-то пышные юбки, которые Лера раньше могла увидеть разве что в фильме про кабаре «Мулен Руж», сорочки блестящие аксессуары, которые уже давно вышли из моды во всем остальном мире, вроде массивных сережек в сочетании с сияющими часами на правой руке и не менее выделяющимся браслетом на левой. Расшитые пайетки, и кольца...

Дамы, словно сговорившись, решили сделать свои туфли камерным подобием диско-шара. На галстук ритуального костюма президента Пумá были заметны вкрапления той же степени нелепого дискотечного сияния...

Министр образования явился в белом костюме и головном уборе в тон. Туристические порталы заявляют, что в африканской культуре белый цвет «символизирует божественную чистоту и нередко ассоциируется с представителями власти».

Темно-синий юбочный костюм министра здравоохранения, выпускницы Второго московского медицинского института, был расшит цветами и украшен стразами. Лере он напомнил училок младших классов, вырядившихся в Москве на День знаний для школьной линейки...

Министр обороны явился в черной шляпе со свободными, но достаточно широкими полями и тростью с золотым набалдашником. Он, в отличие от академика Совенко, пока умел ходить без всяческой поддержки, так что трость была добавлена исключительно из соображений понтореза. Ассоциаций с карикатурным изображением американского гангстера добавил его темно-синий костюм и блестящие остроносые туфли — таких политиков европейцы видели разве что в кино...

Для всей этой странноватой и даже жутковатой публики «зелёный взрыв» посреди мёртвых камней — очень большое, может быть, главное в их жизни событие. Над их курчавыми битумными головами трепетал на ветру заветный лозунг, их мечта: «Африка будет зелёной!»

Президенту Пумá неоднократно докладывали про «зелёный взрыв». Показывали фото, даже видеосъёмку, но президент оттягивал радостный миг личной встречи и только теперь впервые лично сблизился с «зелёным взрывом». А куб, зародыш оазиса, действительно взорвался, разбросав вокруг себя на десятки метров зелёные поползны. Для них, окрепших, пронзивших двадцатиметровый сухой слой особыми корнями, — сам куб, их колыбель, был уже и не нужен. Они ползли и ползли, опираясь теперь сами на себя, прижившись и вполне сносно себя чувствуя в своей экологической нише...

На миг президент Пумá потерял важность напускного достоинства и вместе с ним — равновесие. Он зашатался, сделал несколько неверных шагов и вступил на жёсткий, не слишком живописный, но всё же зелёный — понимаете, зелёный! — ковёр тщательно подобранного разнотравья. Но больше всего его умиляли крошечные, как в заполярной тундре, однако уже заметные черенки деревьев.

Модифицированные в «Биотехе» Озирисы Альбы зацепились и начали вверх. Их корни питались от корней травы, а сама трава — от глубоких сырых илистых залежей, которые нельзя качать насосом, но можно по капле выбирать корнями. Эта земля — как поверхность яйца: сверху твёрдая и мёртвая скорлупа, но под ней, глубоко, с доисторических времён... Нет, не подземные реки или озёра, а нечто вязкое, студенистое. Если можно так выразиться — глубокие подземные болота. Трясины влажной тины, не находящие из-под раскалённой корки-щита никакого выхода. Точнее будет уже сказать — ранее не находившие...

«Хвалынский бур» — буровые рабочие корни, когда-то изобретённые в СССР для его выгоревших степей и барханов, — самостоятельно размножаясь по мере успеха, пили из подземных топей, поднима-

ли влагу на поверхность своей зелёной, парящей невысоко, но радостно, надземности. Здесь, как и положено, испаряли её, миллиграмм за миллиграммом меняя климат, влажность воздуха.

У этих крошечных буровых установок было вдоволь подземных вод, им нужно было только солнце. А солнца тут было много!

Президент Пумá, стоя в траве, выращенной по его воле на сковородке, без исключения конфорки, пошатнулся и упал на колени.

— Что с вами, господин Пумá? — метнулась к нему Лера Очеплова. — Вам плохо?!

Нет, ему было хорошо.

Утыкаясь выпуклым, галошей, лбом в зелёную землю, плесенью расплывшуюся во все стороны от куба, он плакал. И не стыдился своих слёз. Слёзы на его иссиня-чёрном лице казались капельками нефти.

— Никто не знает... — начал он с паузами, дрожащим взволнованным голосом. — Никто не знает, сколько тысяч лет эта земля, отверженная Богом, была иссохшей мумией, мёртвой и пустой! Сколько помнят себя наши племена — всегда смерть поедала жизнь, а пустыня — ела зелёные луга! И вот мы удостоились видеть великое чудо русских волшебников, передовой советской науки, — жизнь поедает смерть! Эмбрион оазиса растёт и, чем шире он расплывается, тем быстрее будет расти дальше! Многие ли верили в это полгода назад, когда мы закопали здесь этот куб?! Многие ли верили, что трава может победить раскалённый щебень и обжигающие пески?

— Чуда тут нет! — сказала, в знак ответной вежливости, быстро учившаяся быть политиком Валерия Дмитриевна Очеплова в пробковом шлеме и костюме «команданте», цвета хаки. — Чуда нет, а есть большая и очень тонкая работа большого коллектива наших учёных...

Она старалась, запоминала термины своего ДОСА/АФа, пыжилась, понимая, что уже не занудам учителям, а ей самой нужна эта зубрёжка, и позарез нужна... Но пока ещё немножко путалась в деталях и носила с собой шпаргалку, составленную штатными биоинженерами. По ней и зачитала далее:

— Наши учёные в московских лабораториях подогнали биохимию почвы в эмбрионе оазиса с молекулярной точностью под место высадки! Предусмотрели сверху солнцезащитные фильтры, позволившие первым росткам пережить самые трудные времена первичной адаптации, включили в конструкцию водосберегающие и водозащитные, почвозащитные функции. Батарейки, питающиеся от вашего щедрого солнца, обеспечили зародышу оазиса охлаждение грунта под отражательной панелью! Так наши учёные питают холодильные установки от прямых палящих лучей жестокого экваториального дня. И вот результат, большой итог большого пути советской науки: если жизнь зацепилась за камень, сразу не погибнув, приспособившись — она будет только расти и продвигать саму себя, черпая силы в своём

первом очаге! — Лера наигранно взмахнула рукой, изображая романтику. — И на камнях растут деревья!

Президент Пумá поднёс Лере сделанные не сверлением, а методом оплётки традиционные африканские бусы. Бусы состояли из алмазов, каждый с черешню величиной, а есть и покрупнее.

— Это дар наших благодарных племён той, которая совершила чудо, не виданное раньше на нашей земле! Примите, о Валерия Дмитриевна!

Лера прикинула стоимость такого набора «камушков» чистой воды, и ей чуть дурно не сделалось... Ей, алчной москвичке, хотелось вырвать это ожерелье из рук президента, не дожидаясь, пока он церемонно возложит свой дар. Но... Лера училась быть политиком!

— Я не могу принять такой подарок! — сказала она в микрофон, сама себе внутренне удивляясь и даже матеря себя изнутри. — Эти алмазы принадлежат народу Средней Африки! Это слишком дорогой подарок, уважаемый президент Пумá...

— И всё же я прошу вас не отталкивать его! — с готовностью отозвался имевшейся у него заготовкой президент, бывший повстанец. — Алмазы всего лишь камни... Их нельзя кушать, их нельзя пить. Ими трудно торговать. Настоящее богатство, сулящее изменение климата, появление источников воды, — эти вот зелёные ростки, первыми из всех растений сумевшие победить Мёртвое Солнце Гунпоки... И если потребуются отдать все алмазы Гунпоки за эти поросли, радующие мне сердце, то я не колеблясь это сделаю!

«Куда ж ты денешься? — цинично подумала Лера. — Отдашь, конечно... Все — не все, но мы с Совенко с тебя не слезем...»

Вслух она, разумеется, улыбочиво несла другое: о неизменной дружбе «наших народов», о ценности социалистического выбора партии р.и.т.á, и о том, что нужно помнить: социализм есть лучшая жизнь для людей. И начинается он с зелёного саженца, с вегетативной энергии жизни, дающей людям и силы, и смысл жить под сенью древесных крон.

За свои алмазы президент Пумá получал не только «зелёные взрывы», продвигавшие зелёный ковёр во все стороны силой инстинкта растительного выживания, но и, бонусом, отличную политическую рекламу. «Биотех» там, учёные, патенты, департамент ДОСА/АФ — это всё тонкости, о которых завтра забудут даже те, кто сегодня о них помнит.

В историю среднеафриканских регионов «великим озеленителем», мифом и протяжной песней у племенных костров войдёт президент Пумá! Вот этот человек, смешно сочетающий европейский смокинг с ожерельем из львиных когтей, тюрбаном из адире¹ и ментиком из шкуры пятнистой антилопы! Человек, который ездит на блиндированном «ролс-ройсе», но умеет с двадцати шагов попасть из лука в

¹ Ткань адире — традиционная африканская домотканая материя, окрашенный вручную синий батик.

плетёную корзину, имеет в своей резиденции ультра-современные кондиционеры и компьютеры, но спит на циновке. И его прислуга говорит безупречно по-английски, но при этом носит пёстрые саронги с окантовкой на длинной стороне...

— Европейские колонизаторы говорили нам: Африка чёрная и всегда будет чёрной! Но сегодня мы видим, как наполняется реальным содержанием лозунг нашей партии «Африка будет зелёной!».

Многое может забыть Средняя Африка. Но того, кто зачал зародыши оазисов, теснящих пустыню на Север, остановив победный бросок песков на Юг, — Африка не забудет. И не про Совенку будут расска-зывать тут детям сказки у очагов глинобитных печей тростниковых хижин, а про президента Пумá...

«Ничего, — утешилась Лера. — Нам с Совенкой и алмазов хватит, а чеховское «небо в алмазах» пусть себе просматривает на здоровье верхушка партии p.u.m.á!»

8

Почтительно, как и положено подчинённому, могучий Кит Питрав постучался в двери отельного номера «шефины». И её мелодичным девичьим голосом пропело изнутри:

— Кто та-ам?!

— Питрав.

— О, класс! Заходи, дядя Киття...

Он вошёл — и застал её переодевающейся, в одних стрингах, бюстгалтер же небрежно перекинут через плечо, так, что бретельки свисают на правую грудь... На кровати — раскрытый чемодан и беспорядочно разбросанные вещи... Её молочное, стройное, сладкое тело било по глазам, как будто в них пальцем ткнули...

Старый громила отвернулся, как от слепящей дуги электросварки, уткнулся взглядом в угол, будто ничего интереснее этого угла в жизни не видел.

— Ну, чего хотел, дядя Кит? — бесстыдно спросила, упирая руки в бёдра, Валерия.

— Я, Лерок, может, потом зайду?! — попросился жалобно, будто школьник выйти, Никита Александрович.

— Да ладно тебе! — засмеялась питерская оторва. — Чего ты там не видел-то?! Не ты ль в мои два года мне жопку под краном мыл?!

— Тогда ты была другая...

— Вряд ли более стеснительная! Коли в гостях обосралась...

Снизойдя к стариковским представлениям о приличиях делового общения телохранителя и босси, Лера накинула пеньюарчик. Помогло мало, потому что полупрозрачная ткань предательски выдавала аппетитную грудь и магнитами манящие, аккуратные-округлые, налитые ягодки сосков. Кит решил, что в углу ещё не всё изучено, и продолжил туда тарашиться.

— Так чего ты хотел-то, дядя Киття? — задирала Лера, принимая одну соблазнительную позу за другой. — Спокойной ночи мне пожелать?

— Не только, Лерочка, у меня серьёзный разговор! Ты же знаешь, Солнышко, как мы тебя все любим, всей корпорацией...

— Всей корпорацией излишне, это может повредить женскому здоровью... — хихикнула Очеплова. — Согласна на пять-шесть топ-менеджеров...

— Вот у тебя всё шуточки-прибауточки, а я как раз об этом и пришёл поговорить?

— О любви?!

— О шуточках! Понимаешь, Лерочка, мы действительно в Средней Африке, и это не игра. И до экватора тут доплюнуть можно, а до папы с мамой очень далеко. Ты привыкла, что любой твой каприз выполняется по щелчку пальцев...

— Если ты боишься, что я набью тут, кроме шишек, ещё и тату в интимной зоне...

— Я не об этом. Я о жизни и смерти, Лера, а они не игра. Мне кажется — уж прости, это моё личное впечатление... Что этот департамент — очередная твоя забава, и он тебе кажется новым кукольным домиком...

— Ты хочешь сказать, что я веду себя слишком вызывающе? — Лера всегда отличалась сообразительностью.

— Да, если не более того. Постарайся понять то, что я, как твой телохранитель, облечённый доверием твоего отца (какого — Кит не сказал, пусть думает, что Димы Очеплова), обязан до тебя донести. Это Африка, Лерок, и здесь «пули довольно одной». И нельзя будет, как в Питере или Москве, перезагрузить игру. Ты должна это понять. Например, никогда не лезь вперёд меня, как ты это делаешь, я для того и приставлен, такой квадратный, чтобы быть тебе живым щитом...

— А если пальнут сзади? — совершенно справедливо поинтересовалась только с виду легкомысленная девушка.

— А сзади тебя страхует Шлунов.

— И с боков поставил, дядя Киття?

— И с боков...

— А тогда зачем я вообще сюда приехала? Ходили бы вы строим, без начинки сэндвича... Как я могу что-то сделать, Никита Александрович, если нахожусь попросту внутри вас, будто второгодница внутриутробного развития?!

— Просто постарайся быть серьёзнее... — взмолился Питрав.

И она пообещала. Ведь она прекрасно понимала, о чём он говорит, только придурилась, как привыкла в тусовках золотой молодёжи. Кто не знает, что всё её детство аниматоры развлекали так, будто они реаниматоры и пыхтят над умирающим пациентом?! Её детство — это «чего изволите»: хоть «кактус-жонглер», хоть «мышы-акробаты» в кукольном спектакле, рассказы о небе в Музее космонавтики, пасхальные гулянья в Коломенском и маринованные осьминожки в ресторане...

Это захватывающие дух прогулки на воздушном шаре, с шаткой корзины которого Ингерманландия вокруг родного Питера кажется «гуляй-городом», а ты сама себе — Шалтай-Болтаем, и экскурсии в подземные города. Когда становилось страшно, то вокруг девочки на фермонах громче раздавался манящий, волшебный аромат парфюмерии последнего сезона. Например, Gucci Flora Gorgeous Gardenia, того, что в коллекционном флаконе лавандовых оттенков «открывается верхними нотами красных ягод, которые сменяют богатые цветочные аккорды». Бархатистые нотки белой гардении и кремовая теплота франжипани, а в шлейфе аромата — сочетание пачули и корицево-сахара...

Но воздушные шары быстро приедаются: нет скорости — нет и драйва. Немного «вставляют» разве что непредвиденные посадки, если разгуляется ветер, и мама Алина подаёт вознице сигнал: снижайся! И ты вдруг оказываешься в незнакомой местности, в совершенно незнакомой таким, как ты, стране, где избытые домики, где припаркована у обочины ржавая «буханка» с экзотическими словами на борту: «Дрова. Навоз».

— Мама, а что это за машина?

— Это УАЗ. Я на таких в твои годы ездила...

— Разве в таких можно перевозить пассажиров?

— Ну, тогда они были гораздо новее... У, сколько времени! — Мама небрежно смотрит на женские часики швейцарского часового Дома Vreguet, с инкрустацией из 85 драгоценных камней огранки «багет» на перламутровом циферблате.

А в детстве её действительно изрядно потрясло на жёстких прямых скамьях (дерматин поверх фанеры) гологодских «буханок», пробиравшихся по разбитым просёлкам. Пока не попала в «Биотех»...

— Мам, а что такое «Биотех»? — спросила маленькая дочка, борясь с головокружением после воздухоплавания возле «уазика» кирпичной формы.

— Ну, доча... Вот видишь, написано — «Дрова. Навоз»?

— Я ещё понимаю — дрова, они нужны для бань... Но кто и зачем возит навоз?!

— Это удобрение для огородов...

— Да? Это же какашки коровок... Неужели мы это едим?!

— Вот смотри, что такое «Биотех». — Мама ушла от прямого ответа на неудобный детский вопрос. — От хорошей жизни возить навоз и дрова не станешь... И принимать их, разгружать собственными руками — тоже... Почему же, сгрузив навоз и дрова, дачник даёт хозяину этой машинки деньги? Почему вместо этого не ударит поленом? Или наоборот?

— А разве так можно?!

— Немцы говорят: «нужда не знает законов». Задумайся, почему навозник не отнимет у дачника денег силой? И что заставляет дачника с ним рассчитаться, как договаривались?

— А при чём тут АО «Биотех»?

— А при том, что ответ один: среди них, навозника и огородника, есть кто-то третий, страшный, который запретил им обоим наиболее экономически выгодное поведение. Совершенно очевидно, что грабёж выгоднее труда — но кто-то страшный заставляет их трудиться, а не воровать и грабить!

— А почему он страшный? Он же, получается, хороший!

— Снова подумай, доча: если он будет предельно корректным, если он будет не страшным, а будет пушист и безобиден — кто станет его слушаться? Кто станет в страхе перед ним отдавать товар или оплату, вместо того чтобы вломить поленом по лбу?

Этот разговор на тему навоза, дров и ненасилия в 7-м классе средней школы решил для Леры вопрос о демократии, очень популярный в кругах её взросления. Всей чуткостью своего детского пластичного разума она сразу же ухватила главное. Человек в ржавой «буханке», невкусно провонявшей коровьими лепёшками, — не хочет возить навоз. Дрова, в общем-то, тоже, но главным образом — навоз. И он его не будет возить, если не будет напуган. Он возьмёт из бывшего салона своего «уазика» полено и вышибет свои деньги другим способом, который не будет пахнуть навозом. И возникает весьма важный вопрос: а кто тогда будет развозить навоз, пока этот возчик поленом размахивает? А потому обсуждать демократию — всё равно, что обсуждать пользу единорогов или красоту эльфов. Хороша она или плоха — она невозможна, и точка. И тот, кто говорит, что демократии не может быть — хороший, честный человек. Он не пытается вас обмануть. А тот, кто обещает с три короба, — нехороший и лживый мошенник, задумавший вас надуть. Почему? Потому что всякий хочет пахнуть Gucci Flora, как Валерия Очеплова, и никто не хочет навозом смердеть. Ну, а как без навоза-то?

Взрослея, Лера всё больше и больше понимала пользу органических удобрений. Обустроить жизнь тому, кто возит по садовым товариществам навоз и дрова на старой колымаге, можно только его напугавши (от мамы в её речь попало это гологодское «амши-шимши», которое, как уверяла мама, разит мужчин наповал). Тогда будет он «дрова доставивши и денежки получивши». А без всеобщего страха перед некой третьей силой — этот мужичок в штопаном ватнике или дров не довезёт, или денег не дождёт. Одно из двух: или он наговнит, или ему наговнят...

Мама свела разговор к тому, что АО «Биотех» помогает людям и пугает их в одном флаконе, потому как иначе-то и нельзя. Ну, то есть пугать-то, не помогая, конечно, можно, сколько угодно, а вот помочь, не напугавши, — не получится.

Леру, впрочем, никто не пугал — её с пелёнок только услаждали и баловали на все манеры. Одно время она увлеклась соколиной охотой. Не столько охотой — сколько эффектными позами, когда ты на прыдущем разгорячённом жеребце, вся в мехах, с со-

колиной крагой на правой руке, снимаешь с хищной птицы колпачок, как фокусник цилиндр... При её положении в обществе — всё остальное делают орнитологи, давая возможность «селфиться», не покидая Москвы: в зоне тренировочных полётов на территории парка «Сокольники». Только знай денежки плати: услужливые дядьки принесут тебе ловчую птицу, и крагу наденут, как малышу бабушка бережно надевает рукавичку, и предоставят всю амуницию соколиной охоты, сами покормят, возьмут на себя и прочие тонкости взаимодействия с пернатым хищником...

Это ей быстро надоело, и она увлеклась авиационным спортом, следуя буклету авиаклуба, что «опытный инструктор подберет вам оптимальный набор маневров высшего пилотажа». И снова Лера чувствовала себя куклой, потому что обслуга всё делает за неё: говоря научным языком (а она как раз протирала обтягивающие, рваные на коленках по последней моде джинсы на лекциях в МГУ) — «не субъектом, а объектом». Потому, как только нарисовалась подходящая студенческая компания, — махнула с приятелями рыбачить на Эгейское море. Среди — как обещала реклама-завлекауха — «самых крупных марин Средиземноморья, в самых живописных бухтах». Компашка алкашей и нюхачей, прожигателей жизни, попала на ежегодное международное первенство MOST (Mediterranean Offshore Sport-fishing Tournament). То есть снова: другие рыбачили, другие готовили пойманную рыбу — а москвичам оставалось только смотреть на это да жрать...

Со скучного Эгейского моря Лера организовала себе виндсерфинг на Мальдивах. Островитяне называют эту забаву пресыщенных туристов LUX Break. Надоест скользить по волнам — можешь провалиться с аквалангом под воду, правда, это снова подлог, потому что дайвинг — серьёзное и опасное дело профессионалов, а новичкам, не слишком знакомым с его дисциплиной и не слишком послушным, — подсовывают отелный «домашний риф» с искусственной флорой и фауной, где оборудованы такие же рукотворные подводные пещеры для куклы Барби и её домика. Предлагаются дневные и ночные погружения, естественно, «с опытным инструктором»...

И конечно, все, кто в корпорации постарше, думают, что Лера снова нашла себе приключение, а не занялась делом. Не такой, мол, это человек, чтобы понимать трёхмерность жизни, необратимость времени. Привыкший, что кто-то отвечает за него, и совсем не привыкший к собственной ответственности.

На такие «гордость и предубеждение» словами отвечать глупо, да и без толку. Сказать Никите Питраву, что с утра проснулась серьёзной и повзрослела до невозможности, — и самой смешно, и он не поверит. На такие предрассудки старшего поколения надо отвечать поступками. Просто показать себя в деле, и тогда вопросы отпадут сами собой...

А пока до большого дела не дошло — она занималась бытовым устройством в непростых для неё об-

стоятельствах. Отель «Vvana Resort 4*» сулил четырёхзвёздный уровень, но сулить — не значит гарантировать. По сути, это казарма неприхотливых и бывалых колониальных солдат, таких, как Кит Питрав.

Лера Очеплова, как особый гость, гость самого президента, получила лучший номер в лучшей гостинице. С нарастающим раздражением она добиралась до него очень долго, блуждая по узким и темным коридорам, и побывав на двух лифтах.

В итоге оказалось, что номер готовили к заселению весьма специфическим образом: Лера не нашла в нём ни одного полотенца, не было мусорного ведра, если не считать здоровенной пепельницы, соседствовавшей с табличкой, запрещающей курение. Поскольку это был среднеафриканский «люкс», то кондиционер работал. Но... воздух не охлаждал!

Столешница, нужная Валерии Дмитриевне для деловых бумаг, оказалась под импозантным, но нелепым зеркалом, была крепко привинчена к стене, под наклоном в 30 градусов! Под таким углом у нас писали только на школьных партах, и то очень давно... Над головой светила одинокая и голая лампочка. Вскоре выявились перебои с водой. Питание в номерах скудное, фрукты несвежие, десерты — заветренные. При обмене валюты на респешене «гостью президента» бесстрашно обманывали, обсчитывали. А на её претензии отвечали: «Я не понимаю русски... английски... — и прочие, доступные Очепловой, перечисляемые ею языки».

«Ну, Огги-Погги! — кипела Лера злостью на принимающую сторону. — Разве так тебя в Москве потчевали?!» И готова была растерзать Огюста Мбаву.

Но... Снова напомним: она уже становилась политиком. И потому все претензии выразила в безлико-отстранённой форме:

— Огюсту советуем ответственнее относиться к своей работе...

— Огюст ответственно относится, — обиделся младший Мбава. — Огюст не лампочками и столиками занимается, белая бвана, а собирает информацию. В Мали высадились ребята Фокки Фреша. Это куда важнее степени проварки овощей «аль денте» нашими криворукими поварами, у которых руки растут из ж...ы!

Он говорил сочным языком русской образности, наотмашь выдавая в себе московского студента славистики.

— А кто такой Фокки Фреш?

— Смесь Фокке Вульфа¹ и свежесжатого сока!

— А серьёзно?

— А серьёзно, в Фокки Фреше, в том, что он появился в Мали, нет ничего хорошего для Мали. Пока он там... А если перейдёт к нам, то нам тоже ничего хорошего не будет.

— А может, он просто в Мали отпуск проводит? — игриво предположила Валерия.

¹ Немецкий истребитель «Фокке-Вульф FW-190» времен Второй мировой войны, соперник «Мессершмитта-109».

— Как можно проводить отпуск в Мали?! — искренне недоумевал Огюст. — Это всё равно, что ехать в Сахару кататься на горных лыжах...

* * *

Панас Лотереенко не всегда был Панасом. До отъезда Украины он был безо всякой племенной экзотики — заурядным Афанасием. Пронырливо, на перестроечных дрожжах за«SHIT»ил¹ докторскую диссертацию. Хапнул кресло директора Института генного редактирования и биотрансформаций УССР, на посту, как водится, крупно заворовался на подрядах на этой почве сросся с криминальным миром. Тогда эта комбинация называлась «кооперативным движением». В итоге получилась корпорация «ЭКОнерия» — маленькое и уродливое, карикатурно-местечковое подобие великоросской корпорации «Биотех».

Если про дьявола святые отцы говорили, что он «обезьяна Господа Бога», то про детище Афанасия Лотереенко можно сказать: обезьяна АО «БТ». Так из расщеплённого, разрубленного корня порой вырастают основной ствол — и вкривь, вкось идущая боковая ветвь-пасынок...

Подлаживаясь под «стрёмную стремнину» реки истории, Афанасий стал Опанасом и уже после майданных игрищ сжался до брендового Панаса. Многие годы возни с майданными идиотами облекли Лотереенко в обманчивую форму внешнего идиотизма, выраженного в хрущевской улыбке и хрущевской вышитой рубашонке.

Не только Совенко, но и Ян Пржимонский принимал Панаса за дурачка — да и трудно принять иначе человека, выросшего в роль клоуна до корней «козацким горшком» остриженных волос. Для Кошмы Лотереенко сам по себе был не важен и не интересен. Кошма, в силу связей, «почвы и судьбы», продвигал американский проект украинской химеры и по мере сил, как и все ему подобные, эту химеру подкармливал. Но если бы Пржимонскому сказали, что Панас Лотереенко — его деловой партнёр, то Ян Янкелевич поморщился бы презрительно неподражаемой мимикой одессита. Дело же не в этом дураке! Сегодня Панас, завтра Понос, инструменты приходят и уходят по мере надобности делу.

Умея проигрывать и, кстати сказать, получив неплохие отступные, Пржимонский без особых чувств или рыданий, объятий или покаяний сообщил Лотереенке, что им придётся расстаться. Две-три фразы, и вопрос для Яна Янкелевича закрыт.

— Обстоятельства изменились... Так что ваши, эти... — взгляд в шпаргалку, — э-э... изотонические растворы и флуоросферы контроля... больше не нужны. — Кошме тем легче было это говорить, что он понятия не имел — какие они такие, эти изотоники и флуоросферики.

— Вы думаете... — угрожающим тоном спросил покрасневший, как буряк, брылястый Лотереенко, — что от меня можно вот так легко избавиться?! Тем более, взяв столько, сколько я вам откатил!

— Ну будет, будет... — утешал Панаса Кошма, не имевший, в силу возраста и разных недомоганий, бодрости скандалить. — Баксы не ваши, пан Лотереенко, баксы американские, вы только почтовый ящик, так что не надо, не надо...

— Просто так, без неустойки, Ян Янкелевич, корпорация «ЭКОнерия» с вами расстаться не сможет...

— Панас Миртович, не бежите так шустро, а то догоните свой инфаркт!

— Вы вгоняете меня в гроб и даже глубже! — не остался в долгу Лотереенко, никем не принятый в серьёзный расчёт. — Это вам даром не сойдёт!

— Хотите доплатить на прощание — не откажусь! — скалился матёрый юрист. И припомнил родную для его профессии латынь: «Pecunia est ancilla, si scis uti; si nescis domina»².

— Ну я вам покажу домину! — кипел малоросской заполошностью Лотереенко. — Не обрадуетесь! Ещё пожалеете!

* * *

Фокки Фреш в Африке казался моложе, чем в доме престарелых по имени Дания. Грубо вытесанный бур, здесь он в полной мере «забурился» в свою хватку английского бульдога и односолодовую, выдержанную в дубильне, выносливость африканьеров. Фреш носил широкополую шляпу, по обручу украшенную клыками львов и зубами крокодилов. Прекрасно владел всеми видами огнестрельного оружия, но — если получалось — предпочитал им свой тесак.

Посмотрев в малийском лагере тот сброд, которым его группе бывалых наёмников предлагали обрасти, Фокки сплюнул на пол крытого тростниковыми фашинами бара жёлтой и тягучей, прогоркло-табачной слюной:

— Я принимаю ниггеров только в одной роли: в роли носильщиков!

— Теперь будет иначе, — поджал губы руководителя Бобби Гуллис-четвёртый. — Учитесь демократии и толерантности! С вашими взглядами мы демократию в Среднюю Африку не принесём!

— Послушайте, мистер... — осклабился Фокки Фреш, и более явно проступили грубые рубцы, перечёркивавшие его обветренные губы. — Если вы насчёт демократии, то в этой проклятой духовке нет ни нефти, ни платины...

Фокки Фреш был не силен в теории, но в общих чертах соображал — всё понимал. Без красивых слов, скорее звериным чутьём и глазами, чем умом и записью. Демократия — это искусство, которому учат та-

¹ Игра слов: «SHIT» — по-английски «дерьмо» и распространённое международное ругательство.

² «Если умеешь пользоваться деньгами — они служат тебе; а если нет — то ты им» (лат.).

ких парфюмных, гламурных команданте, вроде Гуллиса, в их элитных колледжах. Сложное и тонкое искусство — сделать всякую легальную власть жалкой, бессильной, запуганной и беспомощной. Так, чтобы легальный начальник боялся слово сказать и шаг ступить, окружённый хищными папарацци.

Но поскольку общий вес власти, по законам сохранения вещества и энергии, уменьшаться не может, — всё, что выдавили у легального начальства, переходит в руки нелегальному. Криминальной мафии, у которой «красавчик Гулли» четвёртый в роду, если верить их нумерации, — пофигу все условности легитимизма. Криминальный клан одной рукой придерживает яйца политиков-болтунов, а другой — мошонку молчаливого народа. И, когда нужно, мафия сама вынесет приговор, сама приведёт его в исполнение и сама проследит, чтобы о дельце помалкивали. А большинство так и вовсе поверит в «апоплексический удар» устранённой, чем-то ставшей неудобной для мафии фигуры...

Криминальной Ложе, правящей в странах Запада, не требуются услуги легальных прокуратур и полицейских участков, как миллионеру не требуются услуги бесплатного врача в больнице для бедных. Или, например, бесплатного адвоката. Свой имеется! Всякая официальная власть на Западе парализована этими адвокатами, обложена ими, как зверь псами в берлоге. Отсюда вывод: хочешь действовать, не будь официальным! Корпоративные возможности, корпоративные спецсы, корпоративные связи, корпоративная иерархия... Обычно этого хватает!

Кратко говоря, Фокки Фреш понимал, что демократия — это не власть народа. Это власть криминала, «теневигов», и все ограничения, которые они накладывают на официальную власть, нудно и мелочно регламентируя её во всём, — нужны им, чтобы всякие «народные избранники-изгнанники» не мешали корпоративному самоуправству...

Сегодня ты вякнешь против семейки «красавчика Гулли», а завтра у тебя в постели найдут задушенную малолетку со следами твоей спермы во рту. Очень может быть, что это совсем не сперма и не твоя. Очень может быть, что это йогурт оттенка слоновой кости... Но эксперт скажет, что это твоя сперма, потому что не хочет, чтобы в глотке следующей малолетки нашли уже его собственные «семечки»...

Фокки не мог взять в толк только одного: чего нужно Гуллису-четвёртому в мёртвой пустыне и нет ли тут какой накладки, недоразумения? Он лучше этих янки знает места, и... ну, блин, нету там нефти, хоть режьте, хоть трупик в кровать подкладывайте! А раз нет нефти, то на кой чёрт насаждать там демократию?! Черномазые перетопчутся, хватит им их традиционных племенных собраний! Зачем тратить на ниггеров такую дорогостоящую роскошь, как многопартийная свобода слова?

— Я надеюсь на конфедент, Фокки...

— Я — могила! — поклялся Фреш, мысленно добавив: «И я — даже много могил!»

— Вы, как руководитель авангарда, должны знать... Это часть нашей корпоративной культуры: каждый должен знать не больше положенного. Но и не меньше. Там нашли алмазы.

— А! Ну тогда понятно!

Всё становилось ясным: и «пизэйчи» в отряде из ниггеров, и тракеры из ниггеров, вырезавших шрамами на мордах свои имена и происхождение! И неожиданно высокое правосознание племени бороро¹, внезапно осознавшего всю меру и степень коррумпированности и несвободы в республике...

Вдоль всего берега ухают гонги,
А за ними воюющий кровожадный хор
От самого устья черного Конго
Вплоть до истоков у Лунных гор².

Кто постарше, тот помнит, что так звучала и «перестройка» в СССР: только там гонги ухали от батумской бухты до заполярных отрогов Рифейского хребта... Но ни Бобби Гуллис, прозванный тёртым людом «диких гусей» Гулливером, ни даже Фокки Фреш, хоть он и постарше, «перестройки» уже не помнили. Это было до них. Впрочем, то, что при них, — ни на йоту не изменилось: если машинка работает, то зачем в неё лезть с какими-то усовершенствованиями? Люди по-прежнему, как токсичные сухие соки, легко разводятся на вопли про коррупцию и несвободу. Ведь, по сути, баламуты и смутьяны говорят площадной сволочи чистойшую, как горный хрусталь, правду:

— Вы не власть. Власть в других руках, ребята!

Охломоны на площади шкурой чувят: не обманывают. И власть, и деньги, и возможности, и перспективы сделать карьеру — всё в других руках, не в ихних. Правда, так всегда и будет, так навеки и останется, но сброд на майданах в такие тонкости футуризма стараются не посвящать. Ну ведь правда же, ну ведь очевидно же для оборванцев: другие живут вместо нас! «А мы сейчас помитингуем маленько, и сами будем жить вместо других!».

И хотя, конечно, брутальный, обоженный в африканской печи Фокки Фреш презирал содомского, с тату-макияжем, подводкой глаз и бровей, Гулливера — он, по широте натуры, ещё и восхищался.

Казалось бы, такие, как красавчик Гулли, годны только для борделя извращенцам, а вот поди ж ты... Как они умеют манипулировать майданной сволотой, захочешь — не повторишь своим огрубевшим керамическим голосом «сугубого практика»...

* * *

В подпространстве нет трёх измерений привычного нам протяжения, и потому земные материальные представления о далёком и близком там недействительны. Здесь действует иной принцип: если о

¹ Кочевая африканская народность из группы восточных фульбе.

² Стихотворение А. Брэдстрит, американской поэтессы.

чём-то вспомнил, то увидел, а если увидел — то близко. Отдаляется в подпространстве только забытое.

Поскольку Панас Лотереенко думал о Кошме гораздо больше, чем Кошма о Панасе, то сумел заставить Пржимонского врасплох, среди этих размытых, странных и проточных паров и туманов сумрачного мира низших сновидений...

— Однако! — только и смог сказать во сне Совенко, в полуночный час не выпускавший из мыслей Яна Янкелевича, как пастух новообретённую овечку. Среди бесшумных фиолетовых молний расплывчатой, будто сепия в воде, нустической фауны подпространства, ветвящейся не листвою, а асимметрией мыслей, — возник ночной охотник. Нет, это был не свиноголовый Карнокорп, а огненный демон Сури.

Огромная хищная птица, дочь огня, с раскалённым докрасна клювом, наносящим противнику ожоги, Сури пришла из тёмных веков языческого древнего мрака, архаичным чудовищем многократно поминаемым в народных сказках. Сури — пекло, Жар-птица, легендарная птица-людоед Рух¹, откуда, видимо, выходят корни украинского «Руха». А в народном фольклоре это несгорающая птица Феникс и прообраз демона пожаров, «красного петуха»...

— Однако! — побледнел и отшатнулся Совенко, когда Сури, разъярённая и безумная, растравленная для ночной охоты, заметила его и бросилась расклевать в гуляш. Пусть у неё другая цель — но у неё есть и собственные инстинкты, один из которых — убивать всё, что поперёк пути встало.

Два жеводана выдвинулись вперёд и зарычали угрожающе, припадая на огромные мускулистые передние лапы. Сури на длинных чешуйчатых ногах страуса попятилась, вернулась на маршрут — потому что драться с двумя жеводанами ни с того ни с сего даже в её кураж-задоре было уже чересчур.

Возможно, это и спасло спящего Яна Янкелевича Пржимонского — несколько отвлечённых мыслей Сури-убийцы, заменяющих в подпространстве секунды времени. Виталий Терентьевич, удерживая за вздыбившиеся шерстистые пятнистые холки своих лютолалов, имел прекрасную точку обзора на битву признанного чемпиона Кошмы и «тёмной лошади», а точнее, «вылетевшей птички» Лотереенко. Точку обзора в сонном подпространстве заменяет понимание ситуации, и поскольку Совенко понимал всё отлично, то все детали действия были перед ним как на сцене.

Демон Сури атаковал поднимающегося на дыбы Карнокорпа, отчего сразу же повисло коромысло дыма и вони, запах жжёной шерсти и пригоревшего мяса. Могучий крюк раскалённого клюва проломил свиноголаву череп — как раз в тот самый момент, когда обезумевший от боли ожогов Карнокорп дробя-

щими камни челюстями с невероятно широким створом перекусил тонкую страусиную шею птицы Рух...

— Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага, учил Конфуций... — меланхолично и философски сообщил рычащим жеводанам Совенко. — Правда, Конфуций этому не учил... Сукин сын, толмач с китайского, перевёл иероглиф «прошлое» как «труп»... Ну, да ведь это не моя проблема, а Конфуция... А я вам говорю: ждите — и труп действительно проплывёт мимо вас...

Хищный кабан с мускулистым человеческим торсом трепал в мощных клыках плотоядного монстра демона Сури, ставшего похожим на гуся в зубах охотничьей собаки. Карнокорп победил — но был залит собственной чёрной кровью, ноги его не держали, его шатало от нахлынувшей слабости. Он ещё сумел оторвать птице Рух голову и выбросил её, как футболист мяч, пинком подальше. Потом в остервенении боя — рвал и кромсал тело птицемона, расчленил на мелкие куски, повсюду рассеивая слизь и капли внутренностей...

— Ну что, вышиваночный? — хихикал Совенко во сне. — Слаб ты против песчаника Мёртвого моря?

Но у песчаника, прямо посреди его непробиваемого лба вепря, — зияла робоина. Дыра с вытекающим мозговым веществом. Сури дорого продала свою жизнь, если, конечно, можно назвать жизнью дикие охоты в подпространственных астральных мирах...

Утром Виталий Терентьевич проснулся, с аппетитом позавтракал и уже в лимузине не удержался, позвонил в приёмную:

— Дарья Петровна, уточните, что у нас с Пржимонским? И что с Лотереенко?

Вскоре на ноутбук в машине пришла вполне ожидаемая информация. Панас Лотереенко скоропостижно скончался в своём номере в отеле «Хилтон», напугав охрану дикими воплями перед смертью. Его обнаружили в постели скрюченным, вывернутым, с широко раскрытым ртом и выпученными глазами. Будто бы он перед смертью увидел что-то невообразимо-ужасное... Но врачи пресекали суеверные глупые разговоры: совершенно очевидно, что пан Лотереенко скончался во сне от разрыва сердца. Да, внезапный обширный инфаркт мог перед гибелью вызвать у спящего какие-то жуткие видения, но это не больше, чем галлюцинация.

— Мы обильно с таким сталкиваемся, — объяснила бригада патологоанатомов. — Особенно у бизнесменов. Работа нервная, ночные инфаркты случаются частенько, ну, естественно, кровяной удар и миражи... Так что антинаучные слухи пресекайте: чисто органический процесс!

— А что у нас с Яном Янкелевичем Пржимонским? — поинтересовался у референта Филин.

В телефонной трубке был слышен стук клавишного набора, который не разочаровал:

¹ В индо-иранском фольклоре Рух, или птица-слон, — огромная (как правило, белая) птица размером с остров, способная уносить в своих когтях и пожирать людей, коней и даже слонов.

— У Яна Янкелевича сегодня ночью случился инсульт. Он жив и уже пришёл в себя в палате реанимации... Но ниже пояса парализован...

— Добро пожаловать в мир большого бизнеса, — сказал никому Виталий Терентьевич. — Мир, в котором переплелись до неразличимости высокие технологии и первобытность, последнее слово науки — и древние демоны. Этот мир ценит силу, откуда бы сила ни извлекалась, и потому берёт её повсюду, от пещерных сект до новейших лабораторий.

9

Два лика «двуликого Ануса» американского империализма: Фокки Фреш с его мачете в волосатой лапаше питекантропа... И утончённый пидорок, купающийся в мировой философии, как в бассейне у собственной виллы... Когда они вдвоём, то попадание в чёрный безысходный анус колониальной безнадеги для жертв практически гарантировано!

Бобби Гуллис-четвёртый, американская пародия на английских лордов, стопроцентный янки с «Мейфлауэра», которого наниматели сперва охарактеризовали Фокки Фрешу как «специалиста, интересующегося камнями».

— *Н'а jeweler?* — как и всякий нормальный человек, поинтересовался Фокки с его невообразимым бурским глотающим акцентом.

— *Jewelers are processing stones,* — со смущённой улыбкой, чего-то недоговаривая, отвечали наниматели-темилы. — *He's a rockhunter!*

С таким же успехом про охотников на антилоп можно сказать, что они — «охотники на мясо»: им же ничего от антилоп, кроме мяса, не нужно! Бобби Гуллис-четвёртый был не столько «охотником на камни», сколько «ловцом человек», специалистом по манипуляции сознанием примитивных дикарей. Камни — как мясо антилоп — конечный итог его работы. Чтобы взять камни, нужно сперва убедительно изобразить, что в местах их залегания обитает племя бороро, а потом доказать, что оно восстало против деспотизма и коррупции партии *r.u.m.á*. Потом подержать это восстание, ввести «миротворцев», разделить страну на две половины, оставив буш² с его тощими козьими кораллами неграм, а мёртвые раскалённые камни с кимберлитовыми трубками — забрать «молодой демократии» свободолюбивого народа бороро, до наших дней вместо паспорта или иного удостоверения личности использующего систему шрамов на лицах... Вот так их учили в Принстоне: чтобы решить большую сложную задачу — её нужно разделить на последовательность малых и простых задач. Им война — нам алмазы. Утром вой-

на — вечером алмазы. Вечером война — утром алмазы. Но утром следующего дня!

А Фокки Фреш сказал своим людям: «*He's too 'mommu'nal ... To be the daddy of Africa...*»³

Бобби привёз с собой пробковый шлем с электронными охладителями, питающимися от солнечной батарейки на удлинённом козырьке, френч-комбинезон, смесь одежды Сталина и космического пирата из детских фантастических фильмов. Он всегда держал «в комплекте с собой» набор инсектицидов, тубик кейптаунской горчицы, рвотные порошки в длинных облатках, песчаный фильтр и мепакрин⁴. Отправители оснастили своего эмиссара особой обувью, на пробковой основе, обтянутой в Каире подделкой под кожу зебу. Бобби никуда не выезжал без москитной сетки и походного тента, он боялся укусов москитов, клопов, мух обыкновенных и мух цеце, скорпионов, змей. Его преследовал страх желтой лихорадки, слоновой болезни, черной воды, сонного недуга, африканского анкилостомоза.

— *Blackmeared's should be in the first place...* — укоризненно покачал головой Фокки Фреш, всю жизнь неразлучный с Африкой. — *And you, sir, haven't even listed them among the others...*⁵

Вначале всё шло именно «так». Ну, в смысле, как нужно экспедиции. А потом всё пошло «не так». Вначале Фокки презентовал Гуллису-четвёртому уникальные способности племени бороро. Они безошибочно пролагали маршруты, читали все следы, даже те, которые европеец не разглядит и под микроскопом. Стало казаться, что они могут обнаружить даже след рыбы, проплывшей вчера в воде. Если, конечно, вы предоставите им проточную воду, которой у них отродясь не водилось!

— Бороро с колыбели приучены пасти и охранять в буше скот, охотиться... — рассказывал Фреш. — Все, кто мог в детстве там потеряться, — потерялись. А кто вырос — тот уже ни в каком буше не потеряется никогда в жизни!

Когда отряд Гуллиса углубился в мёртвые камни Гунпоки, и с горизонта пропали глинобитные, под тростниковыми крышами тукули — негритянские хижины, Бобби вдруг чувствовал себя плохо, а негры бороро — хорошо. И так было до первого «зелёного взрыва» проклятых русских колдунов. В сердце мёртвой пустыни возник небольшой пока, но агрессивно поедающий камни оазис, Бобби немного успокоил нервы в более привычной обстановке. Нервы же трапперов-бороро, напротив, пришли в великое смятение, и они очень бурно, по-детски, выражали свои восторги от самой заурядной, к тому же выгорающей на солнце почти до белизны, травушки-муравушки.

¹ «Ювелиры обрабатывают камни. Он охотник за камнями» (англ.).

² Буш (Bush) — обширные засушливые, но живые пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями

³ «Он слишком мамин... Чтобы быть отцом Африки...» (англ.)

⁴ М е п а к р и н — лекарственное средство, обладающее в основном противопаразитарным действием.

⁵ «Черномазые должны быть на первом месте... А вы, сэр, даже не перечислили их среди прочих...» (англ.)

В их возбуждённом сумасшедшем лопотании Бобби не понимал совсем ничего, а Фокки Фреш — кое-что улавливал, через слово.

— Проклятые черномазые ублюдки! — плевался он своей фирменной жёлтой табачной слюной. — В их башке нет ничего чудеснее этой травки, а ведь это даже не каннабис, чтобы так тащиться...

И предназначенные для «демократического волеизъявления» бороро стали потихоньку разбегаться. Как правило, прихватывали с собой выданные им для «мирного протеста» против коррупции и несвободы автоматы Калашникова и прочие припасы из лагеря, всё, что можно поднять и утащить.

— Надо поймать одного из воров и отрубить ему руку! — махал мачете гнева Фокки Фреш и был по своему прав: без этого в сердцеvine Африки воровства не остановить. Да и с этим вряд ли, но всё же...

Но Бобби Гуллис-четвёртый был тоже прав, со своей, политической стороны.

— Если мы применим к бороро такие меры, то они вообще все от нас откочуют...

— И на кой нужны эти дармоеды? — ярился Фреш.

— Ну, а кто будет выступать перед камерами CNN насчёт независимости от коррумпированного режима? Твой mecenary¹?

Старина Фокки Фреш не особо разбирался в политике вещания мировых каналов, но даже и его знаний хватало, чтобы понять: подобного рода интервью покажутся зрителям «фейк-ньюс».

Фокки принял свои меры: сгрудил тюки и бочки, имеющие хоть какую-то ценность, под один тент, поставил там самых проверенных ребят, с которыми прошёл максимальное количество войн: Мюллера, Тони Сизоту и Хорхе.

— Какого дьявола мы вообще тут торчим на солнцепёке?!

— Имейте терпение, Фреш, подготовленная мной группа бороро должна уничтожить русских оккупантов в Шакишасе. Они пришлют нам приглашение и официальное прошение прийти на помощь...

— Когда вы их замажете кровью президентских гостей?

— Не раньше, Фокки, не раньше... Вы же видите, как эти номады склонны miss the boat² в самый неподходящий момент. Вначале они мне принесут головы русских оккупантов, и только потом я соизволю рассмотреть призыв их республики о помощи!

— Достаточно и ушей! — хмыкнул Фокки Фреш.

— Что?!

— Говорю, кочаны эти, арбузы по жаре таскать тяжело, надо было требовать срезать каждому правое ухо, быстрее бы дошли...

— Вы правы, Фокки, я не подумал... Они же не смогли бы подменить уши белых людей на уши своих соплеменников, так ведь? А белых ушей тут, кроме как с русских, срезать не с кого...

— Ну, ещё с вас...

— What-you-say?! — истерически взвизгнул Бобби, так что получилось скорее междометие, чем осмысленный вопрос.

— Уверен, что до такого не дойдёт! — сомнительно утешил Фокки Фреш. Он только что схомячил с завидным аппетитом большой красный плод манго и теперь беззаботно вытирал пальцы о поля своей охотничьей, зубастой по ободу, шляпы.

— Так когда придут вестники свободы африканских наций?

— С часу на час... С минуты на минуту...

«Вестников» пришло только двое. И они вернулись без русских голов, а с собственными повинными.

— Какого чёрта?! Что у вас там случилось? — орал Фокки Фреш, чувствуя, насколько политика тяжелее войны. — Вашу группу перебили?!

— Нет, бвана... Они увидели зелень, бвана... Они решили, что русские — великие волшебники, и часть ушла на юг, в буши, чтобы не связываться с такими могущественными колдунами...

— Часть?! А другая часть?

— Другая часть пошла поклониться великим колдунам!

— Проклятые, они же выдадут группе Очепловой все наши планы!

— Непременно выдадут, бвана! Они совершенно сошли с ума из-за зелени. Они говорили: такого не помнили в пустыне ни наши деды, ни деды их дедов! Они собираются служить этим волшебникам, думают, что смогут выслужить у них кусок земли с деревьями!

— А как же независимость бороро? — осторожно поинтересовался политик Бобби Гуллис.

— Какая может быть независимость, если зелень?! — недоумевали самые стойкие борцы за демократию. — Они знают, что независимость — хорошо, с ваших слов. Но то, что зелень — хорошо, они знают с собственных слов...

— Послушайте, Фокки, — гипсово отвердел Гуллис, и лошадиная сила зубатой республиканской патентовано рекламирующей обладателя улыбки у него моментально сменилась клыкастым оскалом. — Это плохие новости.

— Я уж понял, масса Роберт! — скривился саркастически Фреш. — Нет, нет, не утруждайте свои уста, дайте я сам угадаю, что вы сейчас скажете... Фокки, скажете вы, старина Фокки, тебе придётся пойти и самому сделать работу за черномазых. А за это — хотите вы сказать — фирма удвоит суточные и квартирные выплаты...

— Послушайте, какие ещё квартирные? Мы тут ночуем в палатках...

— Так это и есть самая дорогостоящая ночёвка! Я имею в виду, для нанимателя...

¹ Принятое в США название африканских белых наёмников, «диких гусей», мерчей.

² Английское идеоматическое выражение, дословно непереводаемо, смысл — слинять, сбежать, когда тебя упустили.

— Хорошо, Фреш, я вас услышал. Но вы сделаете то, что сказали? Вы ведь не блефуете?

— Мистер Гуллис, сэр, если бы я вызвался сделать за вас контрольную по тригонометрии, вы могли бы подозревать меня в попытке блефа! Но какого дьявола вы сомневаетесь в том, что я делаю практически всю жизнь?! Я схожу в урочище Шакишасы и принесу вам оттуда ожерелье из белых ушей, чтобы вы посчитали для самоуспокоения, все ли «Russi» ушли на поля обильной лунной охоты и не потерялся ли кто по дороге... Но, Бобби, пока вы будете пересчитывать уши, я буду пересчитывать доллары — и я не хочу там сюрпризов, как и вы — в своих ушах!

— Есть хорошая новость и плохая, Фреш. С какой начать?

— Ну, давайте с плохой...

— Мне придётся пойти в Шакишасу с вами...

— Ну, это ради бога! Ваша потёртая промежность будет на моей совести, но я это как-нибудь переживу! А хорошая?

— Хорошая, Фокки, в том, что там мы можем встретиться с алмазами. Прямо на земле. Прямо в этих вот марсианских кратерах... И те, которые найду я, — будут мои. А те, которые найдёте вы, будут ваши, сверх гонорара... И здесь снова две новости, хорошая и плохая...

— Плохая?

— Я гораздо лучше вас разбираюсь в кимберлитовых породах, быстрее на глазок определяю экстрезивную фацию, даже под слоем песка найду дайки и силы. Скорее всего, я соберу алмазов больше вашего...

— А хорошая?

— Вы будете смотреть, как я это делаю, и учиться у меня. Бесплатно — а у нас очень мало что дают бесплатно, особенно в такой взрывоопасной сфере, как образование... Так что несколько средних алмазиков вы непременно подберёте на нашей дороге... Так уж я буду пролагать маршрут, что не проглядите!

— Да... — начинал соображать Фреш. — Но ведь наши камушки могут подобрать эти русские...

— Именно это они и намерены сделать! Конечно, их больше интересует карьерная разработка породы, но сливки с пенками поверху, они, конечно, первым делом сдуют...

— Тогда, Бобби, чего мы ждём?!

— Нам нужны хоть какие-то ниггеры, чтобы объявить посреди Шакишасы независимую республику бороро!

— Да найдём на месте, босс! Какие проблемы?! Это алмазы могут все разобрать, а ниггеров вывозили отсюда несколько веков, и их стало только больше!

* * *

Здесь живут только алмазы... Кроме их игры на солнце ослепляющими бликами в выходах иссушенной слоистой породы, тут больше никто и ни во что не играл много веков. Правда, ещё песчаные

дюны иногда поют, и жутко слушать эту неземную песню, этот хорал раскалённой Смерти. Лере приходилось слышать, что эти красноватые окаменевшие останки живой планеты отложились в их нынешнем виде ещё во времена динозавров, и с тех пор неизменны: шевелятся лишь жабры дюн, когда впитывают ветер.

Шакишаса — куда стремилась попасть экспедиционная группа АО «БТ» — это не посёлок и даже не хутор. Это глиняное растрескавшееся плато, мертвой долиной лежащее куда хватает глаз. Кто бы тут ни пытался прижиться — он ещё в доисторические времена проиграл жару и засухе битву. Тут «дарра» — то есть места, от которых отреклись даже туземцы, как от земли, во всём для человека бесполезных...

Хотя постоянно тут никто не живёт — лучше сюда не соваться. Забредает сюда временно или спасаясь от погони много кто. Путешествовать в этой области очень опасно: тут сказывается и бедность страны, и бездорожье, и бандитизм на караванных тропах, который в Африке — «хронический». То есть иногда слабеет, но никогда не излечивается полностью...

Лера Очеплова видела, как тысячелетиями методичного усердия разломы земной коры, океанские воды, извержения вулканов, землетрясения, эрозия и солнечные лучи слоями накладывались друг на друга словно пирог и что процесс этот все еще продолжается сегодня, на её глазах...

А их итог — возникновение причудливых, как видение наркомана, странных, невероятных фигур из песчаника, встречающих вас скальными столбами и сотнями арок самой разной формы. Если ребёнок здесь слепит куличик из песка, то куличик может простоять век: его некому пнуть и нечему размочить. Тут есть районы, где никогда не шел дождь. Представляете — никогда! Ни раз в сто лет, ни даже до Рождества Христова! Ни травинки, ни кустика, одни камни, мелкие солончаки и тишина. Долина Шакишасы кажется лунной поверхностью, особенно ночами.

Её грибы — каменные. Когда-то были обычными горными породами, но с течением времени их основания стерлись ветром и песком. Так встали сами собой монументы, вопреки всем законам тяжести: издалека это купола, замки, башни, минареты. Шакишаса напоминает воронку, на дне которой мерно покачиваются ярко-красные волны и брызжут всплески. В лучах заката пейзаж похож на пламя.

Бороро всю жизнь бегают босиком. Их подошвы, кстати, мелькающие забавно, потому что светлее основных частей тела, загубели, отвердели. Но всё же в копыта не превратились. Да, бороро привычны бегать босыми, но по бушам и аридным саваннам. Сюда они бежали по камням, по керамической, выжженной, как в печи, поверхности, и разбили себе ноги в кровь, чего не замечали — потому что каждый сжимал что-то в кулаке, как ребёнок — желанную конфетку.

— Нас послали сюда убить вас! — тараторили они переводчику группы, а тот всё переводил Валерии Дмитриевне.

— Убить? Кто?! — выступил вперёд Кит Питрав.

— Люди белой Мамбы, зонтичный человек, и другой, приезжий человек, у которого много волшебных бумаг...

— Бред какой-то!

— Никакой не бред, Валерия Дмитриевна, это люди Фокки Фреша, Огюст предупреждал... И обратите внимание — у них «калаши» у каждого...

— Ну и что? Это же Африка! Тут у каждого корова и у каждого автомат Калашникова...

— Коровы, положим, далеко не у всех... А «калаши» здесь обычно старенькие, битые, тёртые... У этих же — все из одной партии, видите? Ящик разбили и раздали, прямо в промасленной бумаге... Скорее всего, китайского производства...

— Итак, — обратилась Лера к кучке бороро, — вас послали нас убить, а вы... что?

Они стали показывать листики, которые сорвали, пока шли, в зонах «зелёных взрывов». Они пронесли эти стебельки и листочки многие километры, от одержимости и восторга не обращая внимание, что ноги в крови и пригорают к земле, как к раскалённой сковороде...

— Это вы принесли в Шакишасу?! — наперебой галдели негры. — Это вы принесли? Это вы смогли?! Это ваше дело?! Нам сказали, что вы можете на камнях вырастить деревья!

— Ну да... Делаем и можем... И что?

— Мы хотим служить вам и быть с вами, великая русская волшебница! — гомонили бороро, потрясая своим хилым уловом зеленхоза. — Зелёная земля! Зелёная земля! Там будут ручьи! Там будут реки!

— Ну, будут, и что?! — поморщилась этому варварству Лера.

— Что нам нужно, чтобы служить вам, великая русская волшебница?

— Ищите вот такие камни! — Очеплова показала неграм образец алмаза. — Приносите мне. Чем больше таких камней — тем больше травы.

— И ручьёв?

— Потом и ручьёв...

— И рек? Рек, полных водой?!

— Да, и рек тоже! Несите мне такие камни, где бы их ни нашли, и я дам вам деревья, способные жить на вашей земле!

— Тенистые кроны! — бесновались бороро. — Тенистые кроны! Там будет зелёная листва! Зелёные ветви! Зелёные побеги из земли!

— Твою мать! — сердито сказала Киту Валерия. — Кто в сказку попал, я или они? Что за маразм! Озеленителей они, что ли, никогда в жизни не видели?

— Мы найдём много таких камней, русская колдунья! — обещали чернокожие великовозрастные дети. — Но ты же вдохнёшь жизнь в деревья? Чтобы тут росли деревья, как там, много дальше к югу?

Мы найдём много камней, но пока тебе нужно уходить! Люди белой Мамбы хотят убить зелёных людей! В людях белой Мамбы много яда, если они никого не ужалят — то сами отравятся собственным ядом...

Никита Питрав оценил эту фразу: вся американская политэкономия кризисов, великих депрессий, а потом «перекладывания проблем» — как на ладони!

Никита хотел внять мудрому совету и уходить к населённым землям, но... Чёрные вертолёты пронесли у него над головой, перекрывая единственную дорогу, по которой могли пройти джипы экспедиции, наглухо. Путь отрезан! Фокки Фреш знает своё дело!

— Валерия Дмитриевна! — прицокнул языком Питрав. — Если выживем, обязательно напомним нанять этого парня, Фокки Фреша, к нам, в «Биотех»...

— На кой хрен он там нужен? — сердилась Лера, понимая, что значат вертолёты, ушедшие за спину.

— А он, смотрите, что сделал! Вместо того, чтобы штурмовать наши позиции, заставляет нас штурмовать его позиции... А оборону держать в три раза легче, чем наступать! Если мы захотим вернуться в столицу, то он нас встретит огнём на ровном блине...

— А если мы рванём отсюда в сторону Мали?

— Я думаю, то же самое... Два десанта, спереди и сзади, закупорил нас, как бутылку, молодец...

— Кит, а ведь он по твою душу прилетел...

— За это, Валерия Дмитриевна, я его, конечно, убью. Но тактически он грамотный, сукин сын... Он бы нам здесь очень помог, если бы был на нашей стороне...

— Я вызываю по спутниковой связи подмогу! — пыталась Очеплова остаться оптимисткой. — Их больше, и они лучше вооружены... Штурмовать их позиции мы не будем... Спроси у местного населения, где можно засесть, залечь, ну, типа, как в крепости, и кто хочет защищать русскую волшебницу?

Захотели все. Те, кто побаивался, — разбрелись, сюда не дойдя. Тут были только бороро — фанатики озеленительской секты.

Лера, хоть и нехорошо это, не очень понимала этого местного пафоса. В её стране листья каждую осень застилали всю землю ковром. Ей было трудно представить — как это бежать десять километров босиком по камням, сжимая в розовой ладошке зелёный листик. К её стыду, она всё ещё в речи путала «бороро» и «бонобо»¹, что было чревато дипломатическим скандалом...

Леру мало интересовали зелёные насаждения. Она считала эту сделку «Биотеха» чем-то вроде обмена стеклянных бус на ведро золотого песка. Её корпорация привозила кубические шматы дёрна, а взамен получала увесистые драгоценности!

Очеплову куда больше кустов и травы манили подобные кратерам овальные провалы кимберлитовых

¹ Обезьянка, карликовый шимпанзе (*лат.* Pan paniscus).

выходов. Те, в которых, как мусор, разбросаны алмазы. Но у местных другой, может быть, более здоровый и разумный, взгляд на жизнь. Алмазы для них интересны как прозрачные камушки с режущими свойствами. Больше — ничем. А вот росток самой заурядной люцерны, прижившийся между камнями, — приводит их буквально в буйное помешательство.

— Созидание — штука тяжёлая и сложная, — напомнил верный паладин Кит Питрав из-за правого плеча. — Даже тогда, когда все ему помогают и поддерживают, — оно идёт тяжело, медленно, спотыкаясь и сбиваясь с пути. А уж тем более там всё пойдёт наперекосяк, если ему вредить, мешать и зубоскалить над его неудачами...

10

Парализованного Яна Янкелевича Пржимонского, по совокупности недуга и возраста, отправили на покой. Его сменил на высоком посту обличаемый доверием новой моды ядрёный сибирский мужик, будто только что из крешенской проруби вынырнувший, головою лёд проломив, Сила Серафимович Початьев.

Сила Серафимович носил весовой крест под итальянской сорочкой, подогнанной индивидуально под его кряжистую фигуру русского богатыря, говорил «приокивая» в псевдонародном стиле. Он стал своеобразным живым аргументом против антисемитизма: быстро доказал, что кондовый Початьев умеет подличать поболее кошерного Пржимонского. Несмотря на своё поповское обличье, а в чём-то и благодаря оному.

— Теперь вы убедились, что мерзавцы бывают и домотканными? — поинтересовался, отпивая вино из бокала, уже бывший помощник руководителя Аарон Еноп, предпочитавший зваться на американский манер Эроном. Так у него и на визитке, где теперь была зачёркнутая должность, значилось...

— Лично для меня это ни разу не сенсация! — покачал головой Яков Шумлов.

Они встречались тайно, неформально, пока просто как частные лица, случайно пересекшиеся в ресторане на воде. Насыпной искусственный островок был надёжно изолирован от посторонних, одинокий столик, забронированный Яковом Шумловым, возвышался над самой волнистой гладью ветровым упругим экраном озёрной поверхности. Вдоль пирса расположилась плетеная мебель из ротанга.

Концепцией ресторанчика был «венетийский стиль». Хозяева делали всё, чтобы москвич ощутил себя в Венеции: много воды и её плеска, талантливо исполненная кухня и пара стилизованных гондол, стоящих у пирса. Венецианский навес создавал тень и скрывал от дождя.

— Я хочу сразу честно обозначить свою позицию, — решительным тоном сказал Еноп, наливая

себе воду из графина со льдом и огуречными колечками в толстостенный, но тонкогранный бокал голубого стекла, дискотечно сверкающий бликами. — Чтобы вы понимали мою систему координат... Я еврей и знаю, что существует еврейский заговор. Но именно как «еврейский» — то есть один из множества ему подобных, мальтийских, шотландских... да, в общем-то, ведь и «русский орден» наверняка есть... Ну, это вам, Яков Витальевич, лучше знать... Но, кроме всего этого существует и бытие, само по себе, в исходнике, как у нас, юристов, говорят! И оно само по себе важнее всех этих шакальих страстей и сабантуевых скачек. Я очень сочувствую моим соплеменникам, но я не буду ради их мелочной слюнявой кружковщины разрушать основополагающие базовые нормы мироздания, несущего в себе принцип всеединства.

— И в этом, Аарон Семёнович, вы разошлись с вашим бывшим шефом, Пржимонским? Вряд ли он знал о ваших встречах с Максимом Сухановым...

— Кратко говоря, да. И тем более разошёлся я с новым начальником, господином Початьевым. Он совсем уж некошерно положил ноги на стол, за который посажен! Подобно животному, которое в моей семье кушать брезгуют...

— С этого места поподробнее, — улыбнулся Яков.

— Почему евреи не едят свинину?! — изумился Аарон.

— Нет, это я знаю... Я про Силу Серафимовича Початьева и пук его инициатив... Пучок, которым он пукнул...

Еноп рассказывал подробно, так сказать, из первых рук... Началось с того, что Федеральный закон № 358 запретил выращивание и разведение всех форм генномодифицированных растений и животных. На это эксперты возразили, что любой культурный сорт или порода отличаются от дичка-источника, взятого из природы. Под закон подпали все виды традиционной селекции. Тогда, «приводя в соответствие» со здравым смыслом, власти внесли в закон слово «инженерно». И тем вывели — точнее, думали, что вывели, — из-под уголовной статьи хотя бы работы Мичурина. Вроде бы всем понятно, какие генные модификации «инженерны», а какие нет... Но «вроде» — для юриста слово ничтожное! Такие, как Сила Серафимович Початьев, пользовались законом № 358 так же, как их деревенские кулацкие хитрозадые предки-мироеды — дойной коровой.

Инженерный он или не инженерный, новый-то сорт — это всё как экспертизе глянется, а эксперты в штате у Силы Серафимовича. Глядят на один клубень — и всё им что-то блазится, в пробирке рошен! А другой хоть с виду и пробирочный, однако ж сердце-то подсказывает, что его традиционно-мичуринскими методами отбирали... Причём добросовестные селекционеры...

Где точная грань между винтажной «генной инженерией» и архаичным, старше египетских пира-

мид, отбором в полевых условиях? Факт-то ведь только один, абсолютно достоверный и абсолютно доказуемый: мичуринские яблоки весьма отличаются от своего дикого предка... А уж как их там выводили из дикоросов, в какой пробирке, какими спринцовками — дело тёмное, прошлое! Яблоко или груша — не видеокассета, назад не отмотаешь...

Доись, коровка, большая и маленькая! Сила Серафимович попросту взял список всех культурных пород и сортов животных и растений и обложил их использование штрафами, видимо, с расчётом, сперва напугав, потом договориться о выкупе в его бездонный личный карманище.

— А чё?! — скалил крупные плоские бобровые зубы Сила Серафимович. — Закон на нашей стороне! Будут ерепехаться — мы им экспертизу сварганим... Всё одно контрольные почины в нашем подчине!

И господин Початьев ликовал, как злой ребёнок, оторвавший ножку жуку для потехи, полагая, что это он чертовски неплохо придумал.

— Договори встречу представителю «Биотеха»! — даже не сказал, а кинул словесами «наследию старого режима» Аарону Енопу. — Объясню им с этим реестром в руках, кавойный хлебушек вкушают...

— Вы действительно собираетесь говорить с ними в таком тоне?! — брезгливо поинтересовался у нового шефа дорабатывающий свои предувольнительные две недели помощник.

В идеально сидевшем тёмном матовом костюме «от Жеппу-итальяно» он смотрелся рядом с Силой Серафимовичем как холёный лорд возле косомордого, брылястого, бородавчатого и потного ямщика.

— Вы вот так и будете говорить с Филином?!

— Да хоть с Филином, хоть с Сычом! — хлопал кукольно-славянскими бледными глазами Сила Серафимович. — Начнут быковать — врётся, не возьмёшь, — крутил он «бублы» пудовыми ручищами. — Чать, не девяностые! Они свои бандитские штучки — а мы им: шалишь, паря, закон есть закон, плетью обуха не переборщишь!

— Сила Серафимович, — сказал золотистый галстук вышиванке-распашонке из лучших побуждений, — видите ли, вы человек новый... АО «Биотех» — это такая китайская шкатулка!¹

— Знаю, знаю... — устал, загрустил, залапал пышно взошедшую опару круглой рожи Початьев ладонями. — Все они китайские...

И явил простоту, до которой прежний босс никогда бы не снизошёл:

— У меня ведь тоже нету времени на раскачку... Сколько кому на должности сидеть, нонче никто не знает... Станешь медлить — опасаясь не поспеть! Вдруг завтра вышибут? Какой отсюда вывод?

¹ Китайская шкатулка, или шкатулка с секретом — восточная головоломка, которая может быть открыта только после какого-то неочевидного действия или серии манипуляций. В самых сложных шкатулках нужно сделать более ста ходов.

— И какой? — невольно отстранился Аарон.

— Если вышибут завтра, деньги надо взять сегодня! — захохотал Сила Серафимович.

— Я с этим к Филину не пойду! — возроптал Еноп, привыкший к более деликатным методам хищений.

— Тогда пойдёшь вон! — парировал Сила Початьев, и так уже задумавший избавиться «на должности» от старого коллектива, набранного Пржимонским. Чего не умел Початьев — так это облекать своё хамство в воздушную форму вычурного одесситского наречия, что виртуозно делал незабвенной памяти Ян Янкелевич Пржимонский...

И Аарон Еноп пошёл, куда послали. Говоря точнее — трудоустраиваться в АО «Биотех», уже и прежде ему не чужой...

— Советник Президента может сказать Президенту... — попытался Эрон подвести итог, но Яков перебил:

— Советник Президента не может сказать Президенту ничего из области своих коммерческих интересов! Президент решит, что он лоббирует свою корпорацию, и советник потеряет доверие...

— Ну, это ваше дело, а я про своё, — заверил Еноп. — Я ведь приду с приданым... Для начала, ну, как бы испытательный срок, дайте мне удалить Силу Серафимовича... Кому, как не мне, вернуть ему волчий билетик?! И никакой уголовщины не нужно.

— Да?! — удивился Яков.

— Я ученик Яна Янкелевича Пржимонского, и я знаю, как чисто юридически прищучить...

— Хорошая дорога! — одобрил Яков, постепенно втягиваясь в роль топ-менеджера. — И как же, по-вашему, это возможно?

Еноп протянул через стол ежедневник в твёрдом переплёте. Яков открыл, полистал, ничего не понял: какие-то шифры, цифры, закорючки, стрелочки...

— Это что?

— Моё приданое! — засмеялся Еноп. — Без меня не работает, никто не прочтает... Дело в том, что законность — тоже своего рода магия, и в ней тоже есть свои заклинания, черные книги, колдовские приёмы... В этот дневник я несколько лет кодировал приёмы Яна Янкелевича. Как, не прибегая к насилию, человека юридически взять в тиски!

— Ну, если мы возьмём конкретно Силу Початьева?!

— В моём магическом блокноте, страницы 6 и 7... Видите, ромбы и вычислительные логарифмы?

— Видеть-то вижу, но не больно понимаю, к чему сия цифирь?

— Ну, смотрите внимательнее! Там только общий алгоритм, в который, как в алгебре, можно внести любое число, то есть имя! Мы берём анкету Силы Серафимовича Початьева и очень внимательно смотрим: дату рождения, годы назначений, должности и учреждения... Из его возраста и скорости карьеры в девяностых мы делаем вывод, что, скорее всего, Сила Початьев не мог закончить очный институт, как у

него в анкете! Это же пять лет, если верить поданным документам, а он в эти годы — видно из самой биографии — был в бизнесе... Кто учебники учил — а он недругов мочил... Если у Силы Серафимовича поддельный диплом, то и его кандидатская, биологических наук, тоже, выходит, незаконная... Я пробил её через сервис «антиплагиат», и оказалось, что она к тому же вся банально списанная...

— Он списывал кандидатскую?!

— Не он. Он заплатил и купил. А списал тот халтурщик, который ему «кирпич» продал. Сила Серафимович, поди, доселе не знает, думает, что у него всё чисто... Вуз у Початьева казахский, а зачем сибиряку казахский вуз? Скорее всего, потому что за границей, проверить труднее... Но Сила Серафимович забыл, что Казахстан — не другая планета! Я отправил запрос... — Еноп протянул справку. — И вот: липовый диплом у него, никогда он в Казахстане не то что не учился, вообще не был! Далее я, колдуя над годами и зная девяностые, стал думать: а может, у Силы Серафимовича и школьный аттестат фуфло? Понимаете, логика анкеты подсказывает, что в старших классах он уже где-то в «бригаде» должен был ошиваться... Я посылаю запрос — и действительно! О неполном среднем мне подтвердили. А о полном среднем общеобразовательном, после одиннадцатого класса — нет. В итоге мы имеем карьерного чиновника, который не закончил средней школы, не закончил института, не имел права защищать кандидатскую, но защитил её, полностью списав с чужой. К тому же этот карьерный чиновник, научившийся покупать ступеньку за ступенькой, набил отдел кадров правительства фальшивыми документами!

— Очень интересно!

— Ну, что скажете?

— Скажу, Эрон Семёнович, вы маг и волшебник! — восхитился Шумлов, радуясь, что лютолалов на сонного медведя стравливать уже не нужно будет.

— Это конкретная игра, — рекламировал себя Еноп, — а важны сами принципы игры! Эта вот рукописная книжица, у вас в руках, — вся полна такими юридическими приёмами, позволяющими, кого нужно, стереть с пути и лица земли. Без ножа и кастета. Одной бумагой.

— Любимый метод моего отца, — кивнул Шумлов. — Думаю, мы сработаемся...

* * *

В распоряжении «Свободной Африки», твёрдо решившей освободить алмазные копи от русских, а заодно — чтобы ЧВК два раза не гонять — и от архаичного до смеха периферийного «социализма р.и.т.а.», были американские военные вертолёты. Несколько моложе старичков-БТРов, подаренных с помойки партии р.и.т.а. на бедность, но тоже уставшие. Африка вообще — «секонд хэнд» планеты.

Крупные летающие хищники в небе пустыни по старинке пороли пещки пулёмётными очередями из

распахнутых дверей кабины. На страже стояли среднекалиберные пулеметы-ветераны, с насмешкой именуемые «миниганами» (то есть «маленькими пистолетами») Dillon Aero.

В летающей крепости, главной вертушке Бобби Гуллиса-четвёртого, «охотника на камни», размещались три стрелка. Двое крепились у роликовых раздвижных дверей, третий засел в кормовой аппарели.

Экспедиция была вооружена очками ночного видения в комбинации с лазерными прицелами для точной наводки. Совершенно гарантированно, на открытой местности две «вертушки» стёрли бы русских с лица земли, и быстро, барражируя неуязвимо над головами Леры Очепловой и Кита Питрава...

На это и уповал самоуверенно технический руководитель всей операции Фокки Фреш. Но даже такой опытный наёмник, как Фокки, не смог просчитать длинной цепочки неожиданных следствий! Что полоумные негры-бороро, безмозглые черномазые свиньи, увидят ростки «зелёных взрывов» в ранее мёртвой пустыне. Что они на этой почве свихнутся и с листочками в руках, как с талисманами, прибегут служить русским оккупантам. И чёрт бы с ними, порешили бы их там же, где и русских, пулёмёту без разницы, сколько скосить... Но изменники делу свободы и демократии хорошо знали пустыню, были не просто следопытами с детства, но следопытами именно этой местности. В кратчайший срок, пока летели «вертушки» Бобби, ниггеры сумели отыскать и укрыть оккупантов в неглубокой, но достаточно массивной сводами пещерке, о которой чужак в Шакишасе сроду бы не догадался...

И простой план сразу стал сложным. Фокки Фрешу это совсем не нравилось, но Бобби настаивал: поскольку с вертолётов порезать русню не получалось, надо спешиться, открутить с турелей съёмные пулеметы М240Н и использовать их в качестве ручного вооружения, осадив проклятую пещерку, укрывшую с воздуха русню, будто бомбоубежище...

Бой на земле — для англосаксов традиционно их ахиллесова пята, слабое, уязвимое место. В воздухе — за милую душу! На море — пожалуйста! На земле? Обычно всем ребятам вроде Фокки там мошонка жмёт... Наёмники Фреша после первых ответных выстрелов из грота залегли: убивать они готовы, умирать нет, как и все наёмники. Сколько ни орал и ни угрожал Гуллис-четвёртый, «мерчи» идти во весь рост на автоматные очереди не хотели. Их первый командир — инстинкт самосохранения... Перешли к осаде каменного распадка, и Фокки понял, что проиграли. Бобби, может быть, ещё не «въехал», а Фрешу уже всё ясно: потерян темп, потеряна рентабельность!

Да, русня в спешке укрылась в грот. Да, у них там нет запасов воды, пищи, они там долго не продержатся. Но главный вопрос: а нужно ли им держаться долго?! Фреш сильно сомневался. Сомневаясь, по-

рекомендовал Бобби срочно прыгать по вертушкам и свалить: не последний день, ещё шансы будут!

Но Бобби озверел, осатанел, уже не говорил, а рычал и бешенствовал. Его тоже можно понять: у него и начальство своё в США, и международные осложнения за вторжение на территорию суверенной республики, к тому же бессмысленное! Создали международный скандал, засветились — а дела-то не сделали, улетели, поджав хвосты!

Именно из-за пещерного грота осада Лериной группы в Шакишасе задержалась, потеряла темп, превратилась в вялую, взаимно-безобидную перестрелку. Вертолёты ждали, уныло свесив заглушенные лопасти. Уронив темп блицкрига, Бобби Гуллис-четвёртый, амбициозный, но молодой и потому неопытный выпускник школы менеджмента, потерял всё...

11

— Эй, послушай-ка, скрайб-гёрлз (девочка-шпаргалка), это ты? — сменил стрельбу знакомый голос.

— Конечно, я! — стараюсь, чтобы голос звучал задорно, отозвалась Лера Очеплова из-за выбеленного солянистого утёса, меняя обойму в своём «глоке». — А ты, чёртов янки, думал встретить тут своего папу? Я его затрахала до смерти, у него было слабое сердце!

— Девочка-шпаргалка, зачем ты хочешь украсть у меня мои алмазы? Выходи, поговорим, как в старые добрые годы, лучшие из моих алмазов я тебе подарю! Я же джентльмен!

— Иди в анус, Бобби, ты выбрал плохое время и место для флирта!

— Лера, мы же были приятелями в Принстоне! Я ничего не имею против тебя! Просто я не люблю, когда заморские шлюшки без спроса лапают мои алмазы... Это моя эрогенная зона!

— Ну так иди сюда, Бобби, и мы поиграем с тобой в эротическую игру! Сколько алмазов я тебе в задницу засуну, столько ты и унесёшь в свои гребаные Штаты!

— Я очень тепло вспоминаю наши студенческие шалости, скрайб-гёрлз! — взял Бобби на тон пониже. — Ты всегда мне нравилась!

— Тогда зачем ты пытаешься убить меня и моих людей?

— Извини, Лера, ничего личного, только бизнес!

— Разговоры бесполезны, Валерия Дмитриевна! — шепнул Очепловой на ухо телохранитель Питрав. — Это «Вайтвотерз», они не оставляют живых. У них инструкция. Даже если он вам симпатизирует, он не сможет обойти правила... Ему не дадут!

— Я знаю, — невозмутимо ответила Лера. — Я тяну время...

— А почему он зовёт вас «скрайб-гёрлз»?

— Мы с ним в Принстоне сидели за одной партой... Я по дружбе показала ему, куда русские девуш-

ки прячут перед экзаменом шпаргалки... Он решил, что это очень сексуально... Пришлось объяснить ему, туфлём по яйцам, что это бесполоый славянский «лайфхак»...

Как быстро кончается беззаботное детство с его беззубыми приколами! Бобби не забыл Принстон, русскую группу, не забыл и того, какими прочными казались когда-то узы однокашников. Но теперь всё иначе. Никто не смеет воровать его алмазы! Может быть, один или два он и вправду подарил бы чёртовой «скрайб-гёрлз», если бы они встретились под звон бокалов в чистом месте... Но теперь сучка выдумала, что американские кимберлитовые трубки — её собственность! Славня никогда не умела уважать частного владения!

Бобби видел своими глазами, как далеко всё зашло. По дороге то и дело попадались кубы-эмбрионы оазисов, воткнутые посреди лунного пейзажа, как угловатые яйца инопланетян. Бобби чувствовал, как в груди клокочет знаменитая, бульдожья, англосаксонская ярость. Русские искалечили землю, отняли у неё первозданный вид. Русские отравили стерильную чистоту пустыни грязью гумуса, зелёными угрями трав, сально въедающимися в камень...

Первый встреченный куб «московской орды» «вайтвотеры» взорвали гранатой. Специально приземлились и сделали дело. Зародыш оазиса живописно разлетелся, как тарный ящик, в который малолетки на Хеллоуин вложили мощную праздничную петарду...

— Но какой толк? — старался быть реалистом Фокки Фреш. — Посмотрите, он уже распустил щупальца корней во все стороны... Вы, мистер, взорвали не яйцо, а пустую скорлупу того яйца, из которого уже вылупилась, вырвалась жизнь...

Второй куб они стали поливать бензином из канистры, чтобы отравить грунт, убить корни. Но бензина было у них мало, а корней вокруг — разрослось слишком много.

И Бобби бормотал полубезумно:

— Проклятые русские пускают тут свои корни...

— Мы не можем больше тратить бензин! — взмолился крытый живописными шрамами профи из «Вайтвотерз» Тони Сизый. — Нам самим на обратную дорогу не хватит... Послушайте, мистер, как вас там! Вы все, бизнесмены из «Лиги плюща», думаете, что сможете поссать в канистру и там возникнет топливо!

— Проклятые русские повсюду пускают корни... — словно замороженный повторял Бобби.

— Когда победим, мистер... мы запустим фермерские самолётики с ядохимикатами... И вернём земле её изначальный лик! Но это будет потом, а сейчас полетели, мы не можем сейчас отвлекаться на эти дурацкие зелёные лишайи...

Ненаасытные сосущие щупальца далёкой империи продвигались всё дальше и дальше, как сверхдлинные модифицированные корни под землёй, и нако-

нец столкнулись, сплелись с щупальцами другой империи. Первая реакция, инстинктивная, воспитанная полутысячелетием англосаксонского колониализма, — обвить и удушить. Кто смеет охотиться на этом участке, кроме доминирующего льва?!

Орлы «Вайтвотерза», частной военной компании, прошагали с «зелёным вездеходом» доллара полмира, как преторианская гвардия Рима, свергая и ставя императоров. То, что могут быть и другие частные военные компании — для соколов «Вайта» было и непостижимостью, и бешенством.

— Слушай, девочка-шпаргалка, ну ты же наша! — заныл в мегафон Бобби. — Ты же английскую словесность знаешь лучше среднего американца... Неужели ты до сих пор не усвоила, что Америка всегда побеждает? Если ляжешь под Америку — получишь удовольствие. А попытаешься залезть сверху — сядешь на кол...

— Бобби! — не менее чувственно кричала Лера. — Мы росли на одних фильмах, на одних улицах, на одних приколах... Неужели ты думаешь, что я уступлю, когда речь идёт об алмазах?!

Разговор на этом был окончен. Два представителя «Лиги плюща» не станут тратить слова попусту, сказав главное. Этим и отличаются от основной массы людей, про которых Совенко насмешливо рассказывал Лере в Москве:

— Люди-то наши ведь как думают? Что тысячи лет их предки, по причине простой глупости, занимались кровавым, а главное бессмысленным, карательством. А они теперь умные, они теперь будут гулять как кошка, каждый сам по себе, — тут-то и жизнь хорошая начнётся... Запишут в конституцию, что нельзя вредить другому человеку, и, вооружившись брошюрой, пойдут по жизни смело. Встретят льва — конституцию ему в нос: не имеешь права нас скушать! Встретят медведя — то же самое! А предки дураки какую-то бойню устраивали! Но ведь гораздо легче и проще конституцию предъявить бандиту, чем драться с ним. И «братъ его за космы и поражать его и умерщвлять его, и льва и медведя»¹. Зачем такие драмы, когда так просто и безболезненно зачитать льву и медведю главу из конституции о твоих неотъемлемых правах и свободах?!

В самом деле, по ту сторону каменной гряды рычал алчущий крови лев. И говорить с ним на тему конституционных прав, суверенитета Средней Африки, пригласившей к себе русских и не приглашавшей американцев, — бесполезно. Знаете, чем американец отличается от вампира? Только одним: вампир, чтобы войти в дом, требуется приглашение...

* * *

Огюст Мбава сидел с автоматом Калашникова на броне старого, списанного русского бронетранспортёра, который после списания попросту... подарили народной африканской власти! Сказали: платить

вам всё равно нечем, а дарёному коню в зубы не смотрят... Никакой русский не высадил бы на этой сковороде — но Мбава даже не замечал, как печёт снизу, через штаны-хаки. Все его мысли пучком сошлись, слились, сконцентрировались на урочище Шакишаса, где погибала окружённая боевиками малочисленная экспедиционная группа «Биотеха»...

Спутниковый сигнал сработал безупречно — доказывая, какой маленькой стала планета. Старый, изработанный, измученный бронетранспортёр правительственных сил Средней Африки доказывал обратное: как она всё-таки велика, если смотреть не с орбиты, а с пошарпанной усталой брони...

Стальной гроб встал. То ли песок ему набился, куда не следует, то ли просто металл утомился за десятилетия безупречной службы. Но машина-чудище не хотела идти дальше...

Вторая заглохла следом за ней, и вообще вся колонна встала. Карающий меч правительственных сил переломился, безвольно, в пыли и в жаре, колонна превратилась в накаляющуюся на солнцепёке груды металлолома. Какой, в сущности, изначально и была: хороший годный БТР в Африку не подарят. В лучшем случае — продадут. А если подарили — считай, он облезлая мишень на полигоне для начинающих гранатомётчиков...

Огюст молился по-своему, по-африкански, так, как никогда не стал бы молиться европеец. Он молился и плакал, и обильно, и слёзы, падая на искорёженную кору бронетранспортёра, шипели, испаряясь. От них оставались лишь маленькие белые точки: слёзы были солёными.

— О великие русские боги! — молился лиловый человек на своём агглютинирующем, почти птичьем наречии. — Я знаю, что вы старые, что вы устали и уснули... И покинули суетный мир людей... Но не было никого в мире сильнее вас... Вы поднимались на небо, как по лестнице, вы поворачивали реки и наливали целые моря! От сотворения мира никто не умел быть могущественнее вас, о старые русские боги... Я вас прошу, услышьте моё моление, снизойдите ко мне из верхней долины вечного сна... Вы, великие русские боги, некогда вложили жизнь в эту огромную и страшную машину... Дайте ей ещё дыхание, мне это очень нужно... Если Африка не станет зелёной — зачем жить клану Мбавы? И если погибнет эта девушка — зачем жить Огюсту? Молю вас, грозные русские боги, верните этой машине сердце...

Бог его знает, как это функционирует в тонком мире... Но орошённый слезами и облаканный розовыми ладошками лилового человека изработанный усталый металл, казалось бы намертво заглохший, вдруг заурчал изнутри, дёрнулся, ожил...

— Послушай, ниггер! — задорно крикнул веснущатый рязанский механик-водитель из люка. — Перестань лапать мою черепашку! Она брезгует! Она поедет, только не гладь её, ей кажется, что ты её испачкаешь гудроном! Она у меня чистюля!

¹ Ветхий Завет, Первая книга Царств, Гл. 17; 35-36.

Бронетранспортёр-отставник дёрнул на тресе, «с толкача» завода, своего стального брата-близнеца... А потом пошёл, и пошёл ходко и больше уже не глох до самой Шакишасы, где наконец выпустил давно в его металлической душе накопившееся раздражение очередями крупнокалиберного пулемёта Владимирова...

Лучше никогда в жизни не слышать, как «работает» крупнокалиберный пулемёт Владимирова. И ещё лучше, никогда в жизни не увидеть его «работы». Считайте себя счастливым, если не видели и не слышали его никогда!

* * *

Про КПВТ всегда трудно сказать — то ли это очень крупный пулемёт, то ли очень скорострельная пушка. Жутко весомый аргумент — если разговаривать с циником, плюющим на любые аргументы. Развернувшийся бой напоминал битвы астральных монстров в подпространстве, в царстве снов, да ведь и был, по сути, такой битвой! Когда химеры, обитающие в разуме, столкнулись и перемалывают друг друга. Карнокорп убивает птицу Сури. Русский пулемёт не даёт шанса американским переносным «матушкам-вертушкам», снятым с геликоптеров...

При всей мобильности банды-призрака у неё никогда нет шансов против правительственной армии, пусть даже самого бедного и неказистого государства. Старичок КПВТ, приехавший в Африку со свалки вооружений, давно уж списанный, — перед тем, как начать стрельбу, почихал и прокашлялся. И Огюст Мбава думал уже, что старичок не плюнет...

Но военный пенсионер из госпитальной реанимации, КПВТ, покапризничав для виду, набивая себе цену, потом метнул горстями стального гороха прицельную стрельбу на два километра...

Он всегда так делает, когда ему дают, разрешают. Град крупнокалиберных пуль просто рвёт в клочья броневые автомобили и любые легкобронированные цели вместе со всем содержимым! Местность накрыло веером бронебойно-зажигательных — нет, даже не пуль, скорее, маленьких артиллерийских снарядов... Что ему какие-то два километра, роковые для американских стрелков, непреодолимые для их автоматических жал, — если он по праву считается самым мощным в мире? Для него это не предел, для его веры маленьких всепокрушающих снарядов убойная сила сохраняется до семи километров!

Вертолётчики наёмников Бобби Гуллиса-четвёртого превратились в решето, опаляемое огнём, как на конфорке плиты.

— Конченное дело, — посетовал хозяйственный рызалец Огюсту Мбаве. — Пропала техника, починке не подлежит... Скока денег коту под хвост... Это теперь не вертолётчики, а дуршлаг, через них только лапшу хорошо откидывать...

На открытой пустынной местности погибли не только вертолётчики, но и все их грозные всадники. Ес-

ли «пуля» — адский шершень из КПВТ попадёт человеку в руку или в ногу, — он всё равно умрёт, потому что любую конечность даже касательное попадание отрывает с бумажной лёгкостью. А если адский шершень со стальной головкой попадёт даже не в конечность, а просто рядом — камушки в месте удара превращаются в разящую шрапнель и накрывают минеральным покровом смерти...

Зря Гуллис не послушал Фреша и не улетел в Мали, пока был шанс: теперь у группы Гулливера никаких шансов уже не было...

* * *

Бобби валялся весь в крови, с оторванным боком, но ещё живой. Пуля из КПВТ застигла его касательным, ласковым жестом, по сути, пролетев мимо, лишь чиркнула. На миллиметр ближе к осевой — и она разорвала бы ему тело пополам... А так «всего лишь» вырвала примерно с килограмм мяса под рёбрами и, кажется, парочку нижних рёбер...

Бобби являл мечту художника на тему гражданской войны: красное, очень красное. И белое, очень белое. Красным был торс, белым, белее простыни, до, казалось, свечения лампы дневного света, — интеллигентное, привычное к очкам в золотой оправе, аристократичное лицо.

— Лера... Помоги мне... Помоги мне, скрайбгёрл, мы же вместе учились... Ты же помнишь, как...

— Это было давно, Бобби! А пятнадцать минут назад ты в меня стрелял... — говорила Очеплова через губу, заносчиво и выпукло. — На поражение...

И передёрнула короткий затвор длинного ствола своего пистолета.

— Девочка-шпаргалка, ты же не сможешь этого...

Она поднесла «глок» к его искажённому болью лицу:

— Извини, Бобби, ничего личного... только бизнес...

И грохнул выстрел, став ответом на вопрос Питрава, смущённо заданный в отеле: не игра ли всё это? Нет, дядя Кит, не игра!

* * *

В эйфории победы и спасения, в запале своей бурной молодости, Лера металась среди военнослужащих, спрашивая-вскрикивая:

— Где он? Где он?

«Люди боя» сторонились от неё, не понимая, чего она ищет.

Впрочем, она и без них быстро нашла...

Огюста, в камуфляже и с автоматом, верхом на броне, в очень волнующей позе силы и могущества...

Налетела на чернокожего друга, стащила его в охапку со стального «пьедестала мужества» и стала яростно целовать куда попало, норовя попасть в пухлые африканские губы и повиснуть на них в страстном укусе...

— Погоди-ка, девочка! — отстранил он Леру, мстительно припомнив её московские насмеш-

ки. — Мне кажется, что ты меня испачкаешь белой ваксой...

— Разве бывает белая вакса?

— Разумеется, бывает... Для белой обуви... И у меня такое ощущение, — Огюст показал, как его дёргает тиком брезгливости, — что ты ею вымазана с головы до ног...

— Потерпишь! — снова и властно обняла она Мбаву-младшего. — Белая вакса чёрной кожи не испортит, а вот блеск и лоск придаст...

Огюст пошёл вдоль трупов, демонстративно не оглядываясь, заставив гордичку бежать за собой... Нашёл, чего искал:

— Мне кажется, что с этим парнем, — Огюст пнул труп Бобби в выгодно отличавшейся галунами, хоть и окровавленной, униформе, — у тебя гораздо больше общего, чем со мной...

— Может быть, может быть... — обворожительно оскалилась белая стерва. — Но мы с ним разошлись во взглядах... Он считал, что планета — часть Америки. А я считаю, что планета — часть России...

— Слово против слова... А кто же прав?

— А вот кто выжил, Огги-Погги, тот и прав...

* * *

Криса Пятоо пуля из КПВТ разорвала пополам, на две, примерно равные по весу, части. Верхняя часть расчленёнки на большой скорости врезалась в Фокки Фреша, стоявшего на линии огня, и уронила его на землю. Точнее — на камни. Фреш здорово треснулся затылком об острый кремь и потерял сознание на всё время боя. Очнулся уже в плену. Попытался свалить с себя верхнюю часть человеческой туши, сам, по слабости и головокружению, не смог. Помогли русские.

— Привет, товарищи! — сказал им Фокки по-русски.

Они удивились.

— Этот вот парень научил... — улыбнулся Фреш, положив ещё слабую, дрожащую руку на плечо половины Криса Пятоо. — Не подвела его чуйка, как в воду глядел...

— О чём вы?

— Он мне сказал: если со мной в Африку вернётся, то меня не убьют, он, дескать, изменит ход событий... И как в воду глядел... Только, бедняга, не про себя...

— Фокки! — вступил в дело Никита Питрав. — Будем считать всё это презентацией твоих возможностей! Предлагаю оплату на двадцать процентов выше, если переходишь к нам. Нам такие, как ты, позарез нужны!

— Хорошенькое дело! Только вот умирал, а теперь гадаю: за что же? За собственную упущенную прибыль?

— С нами ты прибыли не упустишь!

— А я слышал, что русские не берут наёмников, предпочитают идейных...

— Ну, бро, это когда было! Хватился! Мы за такое давно раскаялись... Понимаешь, Фокки, старина, —

идейный фанатик, как ни странно прозвучит, очень ненадёжен. Он фундаментально неуправляем, потому что у него в голове — непредсказуемые бродильные процессы. В самый ответственный момент он вдруг выдумает, что ты предал двоеперстие, — и выстрелит тебе в спину... Уж мы-то в России на этом обожглись, не дай кому боже!

— Учитесь, значит, на горьком опыте...

— Учимся. Наёмник — конечно, костями не ляжет, как фанатик. Но зато он предсказуем. Его не напрягают ни двоеперстие, ни измена двоеперстию. Он считает, что два перста слагать, засовывая в задницу, или три — личное интимное дело каждого шалунушки... В общем, Фреш, моей корпорации с наёмниками как бы... эта... спокойнее...

— Думаете, американцы вас не сломают?

— А ты как думаешь?

— Думаю, сломают. Я из буров, тоже храбрые были, но их сломали...

— И нас, как их?

— Думаю, да...

— Ну уж это, Фокки... Как говорят в новой России — «битами по body писано»!

Из всего каламбура Фреш понял только слово «боди».

— Когда янки вас раздавят, я от вас уйду! — честно сознался Фокки.

— Не раньше?

— Раньше резону нет уходить...

В цене они сошлись. Деловитый Фокки оставил думы о горечи поражения и стал думать деловито совсем о другом: кого и где нанять в новый отряд сторожевых псов русских алмазных копей...

Что касается негров, то их волновало одно: растения. Несколько бороро, с открытым ртом слушали агронома-озеленителя Мишу Толчеева.

Миша раздавал неграм какие-то листочки, и те благоговейно, как в церкви, принимали этот нелепый дар в сложенные лодочкой ладони.

— А всё-таки они люди... — задумчиво сказал Фокки Фреш Питраву, к которому чувствовал всё больше расположения.

— Кто? — удивился Никита Александрович.

— Негры... — Фреш показал ладонью, обмоченной кровью через марлю бинтом, перед собой.

— Ну, брат! — засмеялся Питрав. — Тоже мне, сделал открытие! Это давно известно...

— Что негры — люди?

— Да.

— И где?

— У нас в России...

— Так у вас их там нет. Когда ты вне досягаемости зверя — легко восхищаться его шкурой и грацией... А вот я, африканец Эрасмус, жил среди ниггеров всю жизнь — и всегда считал их животными. И они давали мне много оснований так считать. А всё-таки они люди...

— Обращение Савла в Павла! — хихикал Никита Александрович. — Ну и с чего же ты сделал такой потрясающий вывод?

— Когда приходится выбирать между свободой и озеленением пустынь — зверь выберет свободу, а человек озеленение. Зверь всегда выбирает свободу — даже ценой проживания в пустыне! Звери иногда, случайно, разносят семена на шерсти или в дерьме, но никогда не делают этого сознательно. Только человеку доступно сознательно разменять свою свободу на озеленение мёртвых земель...

Он снова указал на группу бороро, опекающих Михаила-озеленителя.

— Мы предлагали им свободу и для этого раздали новенькие китайские автоматы! Мы предлагали им многопартийность взамен деспотичной, вождистской партии-террористки р.и.т.а. Они могли бы отобрать власть у других — себе, любимым. Все животные делают так, если могут! И только человек может выдумать в своём дырявом котелке, что общее выше частного. И личная свобода, личная значимость — не так уж важны по сравнению с великим делом...

— Фокки, старина, да ты просто философ! — восхитился Питрав.

— Попробуй пожить с моё в Африке — и не стать философом! — парировал Фреш, улыбаясь страшной, рассечённой шрамом улыбкой.

* * *

— ...Ты мне зубы-то не заговаривай! — рассердилась Валерия. — Я сюда не за тем приехала, чтобы стать богиней каменного века, палеолитической Венерой! Меня устроит скромная роль владелицы алмазных россыпей...

— Но разве это не приятный бонус? — скалился Огюст Мбава. — Посмотри, как они восхищаются тобой и как пинают тела твоих врагов!

— Политика — дело волчье, — кусала его словами Лера. — И если ты думаешь, что мы чем-то лучше бригады Фокки Фреша, — то ты сильно ошибаешься. Другое дело, что мы вам — полезнее. У нас есть, что вам дать, а ребята Фреша — жадные. Они хотят все ваши сокровища отнять даром.

— А мы заставим заплатить! По рыночным ценам!

— Ты небось думаешь, — ёрничала Лера, — что в рыночной экономике всем за всё приходится платить? Нет, Огги-Фрогги, это был бы социализм... Рыночная экономика — это место, где слабым не платят.

Пока Лера нравоучительствовала, восстанавливая власть женских чар над Огюстом, Фокки Фреш своим тесаком разделявал, бегло перекрестившись, тело бывшего друга и, как выяснилось, телохранителя, Криса Пятоо. Он уверенными сильными движениями отрубил ему правую руку с основанием под съёмный протез.

— Что за глумление над трупами, Фокки? — возмутился Питрав.

— Никакое не глумление, сэр! У него есть отличная штука, с виду протез руки, а на самом деле ружьё... И, главное, никто не подумает, что это ружьё! Ему-то больше не нужно, а мне ещё очень пригодится!

III. БИТВА РЕБУСОВ

1

Одноклассники давно минувшего школьного выпуска, далеко разошедшиеся по жизни, Блефе и Вихров, встречались не в первый раз после выпускного, но впервые задолго. На каждом лежал, что называется, неконвертируемый груз пережитого и переосмысленного, который другому было бы сложно не только принять, но даже и просто понять. За плечами каждого из них незримо стояла тень человека-проблемы.

Осип Германович Блефе, скромный чиновник президентского финнадзора, никак не мог избавиться от липкого образа, глянувшего на него с фотографии досе: зловещего, как маньяк, Роба Шакапиво-ва. Худошавый и гадко-вытянутый, мосластого телосложения монстр с бесцветными глазами трупя, оттопыренными ушами нетопыря, темноволосый с проседью, неизвестных кровей проходимец стригся коротко, имел искривлённый, видимо ранее ломанный, острый и длинный нос стервятника.

Глубоко, как рана, входила в скальп лобная залысина. Тонкие, змеистые губы маньяка, квадратные, резко очерченные скулы людоеда с сильными челюстями, глубокие глазные впадины. Фотография была чёрно-белой, но и на ней заметно, что костюм и узкий галстук не из дешёвых, и на всём лежит влажная, маслянистая прилизанность образа, как будто Роб перед фотографированием пролез через слой вазелина...

Блефе, обладая тонким чутьём на людей, усиленным серыми, скучными и волчьими в своей серости годами службы в аппарате Президента, не хотел бы не только дел иметь с Шакапивовым, но даже и случайно оказаться с ним где-нибудь в кабинке лифта или на тёмной лестнице... Но каким-то образом грандиозное операционными объёмами страховое общество «КордНацСтрах» посчитало, судя по ксерокопиям договоров, Роба Ламовича превосходным партнёром. И это очень странно, очень неправдоподобно, учитывая, по какому предмету и на какие суммы застраховался у них Роб Ламович Шакапиров, костистый, рыбно-холодный и вазелиновый на зрительную ощупь...

Иногда Блефе думал, что никакого Шакапиво-ва нет, это лишь стоковое фото, а страховщики мошенничают внутри себя, попросту выдумав «козла отпущения»! Но Шакапиров был: договор аренды кот-

теджного загородного комплекса под хоспис для немощных стариков Яков Шумлов подписал именно с Шакапивовым, а не со страховщиками...

Подумав, Блефе пригласил в уютное и неожиданно-демократичное кафе на Арбате старого приятеля, с которым несколько лет даже за одной партией довелось отсидеть. «Отмотать», как они шутили...

Здесь обедалось тихо и спокойно, интерьер в стиле итальянского ренессанса, играла тихо, не мешая разговору, но препятствуя прослушке, приятная музыка. Официанты вежливые, но ненавязчивые — оценил Блефе, — они всегда рядом, но никогда не лезут ухом между собеседниками.

Осип Германович решил не делить счет на двоих. В годы их с Вихровым молодости делить счета было не принято — до смертных обид.

— Имелось и в прошлом хорошее! — ностальгически улыбнулся Блефе.

А ведь речь идёт о старом Арбате, о самом пресамом яблочке мишени дороговизны!

Вихров был коренной русак, на Блефе ничем не похожий, как и бывает у взаимно притягивающихся противоположностей. Был он с лицом лошадиновытянутым, припухлым, с неумеренными, до скупости, узкими пропорциями пуговичного носа. Серые, стальные, отливающие жемчужно, ментовские глаза сидели слегка навывкате, а сам Вихров — раскостый и плечистый, и — по общему интуитивному ощущению — опасный.

Чуть поёживаясь от этого неуловимого, как тонкая вонь, чутья, блекло-рыжий конопатый Блефе попросил вынести заказ на летнюю веранду, где почти не было посетителей. Зато — чисто и комфортно. Обстановка без претензий, но стиль «патио» держит. А что ещё нужно, чтобы нормально поесть и поговорить в атмосфере былого доверия?

Майор Вихров извиняющимся тоном спросил себе суп. Блефе порекомендовал фирменный здешний, томатный, но Вихров, ещё более смутившись, выбрал в меню «суп гороховый с копчёностями».

— Сам не понимаю! — ответил полицей на незаданный вопрос. — В детстве я на этот суп и взглянуть без тошноты не мог... Казалось, Оська, страшной баланды в мире нет! А теперь мне его хочется! И не в первый раз! Как такое может быть?

— Меняется обмен веществ, — пожал плечами Блефе. — Меняется клеточная структура и гормональный фон...

— Видимо, да...

Как перед президентским финансовым контролёром маячил маньяк Шакапивов, так и перед майором Константином Вихровым столь же неотвязчиво маячил свиной розовокожей и жирной головой подполковник Фаршев. Посредственный как человек, но непосредственный начальник Вихрова. Зоологический типаж, страшный в своей кабаньей тупости и упёртости, в силе своего звериного щетинистого упрямства. Именно этот подполковник Фаршев раз-

лучил одноклассников, потому что полгода назад Вихров просил Осипа Германовича «помочь со свиньёй», а Осип Германович, как и положено скользкому карьеристу, уклонился.

Может быть, своему однокласснику Вихру Блефе и казался всемогущим, на том основании, что место работы — Кремль. Но — то, чего люди «с земли», из районных управ никогда не поймут, увы, — и в Кремле разные люди работают. Есть и уборщицы, если что. И сантехники. И тоже через ту же калитку в крепостных воротах входят — ну, а как иначе? И что, думаете, каждый водопроводчик «с пропуском» — горы может своротить?

А теперь из-за проделок этого Фаршева разговор не очень клеился. Чувствовалось взаимное обиженное отстранение друзей детства, из которых один попросил некрасиво, а другой не сделал бездушно.

— Что скажет небожитель из финнадзора такому прозаическому неоперённому оперу, как я? — со «смирением паче гордости» унижался перед другом детства майор Вихров.

— Как у тебя с Фаршевым? — участливо поинтересовался Блефе.

— Ну, а как у меня с Фаршевым? Плохо... — развёл руками Вихров. — И никто не помогает, в частности из финансового надзора...

— Ты же знаешь, Костик, мои возможности влиять ограничены...

— Зато осторожность за своё седло у тебя безграничная... Как бы чего не вышло!

Майор Вихров, и вот «так уж вышло», служил заместителем начальника полицейской следственной части. Подполковник Фаршев над ним сидел, свесив ноги, и постоянно пытался уничтожить Вихрова, видимо, кого-то своего чая на должность, взамен этого ничейного неудачника.

Вначале Фаршев действовал скрытно, а потом, когда его кляузы во все верхи всплыли, — к ужасу подчинённых, их старшие офицеры перестали разговаривать, проводить сообща оперативки по утрам, и всё управление в следственной части развалилось, превратившись в «двоевластие». Фарш стучал наверх, что майор Вихров уговаривает невменяемых подследственных переписать на его имя квартиры, а за смягчение режима или приговора требует деньги. Вихров докладывал, что подполковник Фаршев берёт взятки с крытых оптовых рынков, морально разлагается в кутежах со стриптизёршами, ворует на «темках», связанных с госзакупками.

Трудно сказать, что думал об этой войне Фаршев, но для Вихрова она была отражением и отпечатком общего глубокого отчаяния, сломанной судьбы. Философствуя по ночам, сигаретным дымом в потолок, майор Вихров думал, что возрастающая нетерпимость и жестокость людей — естественная их реакция на капкан, на тот тупик, в который очевидным образом упёрлась, ломая рога и стирая копыта, постсоветская реальность. А раз так, то люди будут уби-

вать друг друга, только страшнее и больше, и «завтра» полно тьмой...

— Есть у меня один знакомый... Точнее, сын хорошего знакомого, Яков Витальевич Шумлов... Задумал он доброе дело сделать, открыть благотворительный хоспис для пожилых неимущих...

— Ночлежку для бомжей? — переводил на язык простоты майор.

— Ну, вроде того! Ну, знаешь, такой дом престарелых для бедных... И для этой цели этот вот Яков снял по договору аренды коттеджный загородный комплекс у некоего Роба Ламовича Шакапивова...

— Погоди, погоди, Оська! — изумился Вихров. — Это какой же нации имечко?! Вроде не азиатское, не кавказское... Еврейское? Тоже вроде не еврейское...

— Ну, понимаешь... Графу в паспортах убрали, от большого ума! Не знаем теперь... Роб Ламович Шакапивов — вот и гадай, какого он роду-племени и с какой из Лун упал... Но я не об этом! Вышеуказанный Роб Ламович, перед тем как свои постройки под бомжей сдавать, хорошо их застраховал... Знаешь, так — по максималке!

— Кого, постройки или бомжей? — улыбнулся Вихров.

— И тех и других... — сказал Блефе, и улыбка сбегала с лица Вихрова.

— То есть страхование имущества и страхование жизни?

— Так точно, товарищ майор!

— А кто получатель страховой суммы?

— Понимаешь, тот же самый господин Шакапивов...

— Как такое возможно?!

— Страхуетя он, кстати, я проверил, не в первый раз, в страховой компании «КордНацСтрах». Компания колоссальная, обороты всемирные, принадлежит заграничным акционерам... И, думаю я, на уровне среднего звена есть там у Шакапивова очень хорошие друзья...

— Получается, если дом сгорит и старые бомжи в нём сгорят, то...

— Я тоже так подумал, когда документы по авантюре Яши Шумлова легли мне на стол... Я ещё подумал, что владелец, перед тем как впустить арендатора в собственный дом, имеет там возможность разные «закладки» сделать, так ведь? Подготовить помещение, чтобы сгорело сразу и никто не вырвался...

— Значит, Шакапивов получает страховки, а вся ответственность на арендаторе? Ведь владельца в момент страхового случая даже и близко не было!

— Но как на такое мог пойти «КордНацСтрах»?!

— Это у него спросить надо... Но, думаю, лучше спрашивать, когда шайку эту уликами прижмёшь! Если сейчас спросишь, они с крючка сорвутся...

— А как так получилось, Оська, что ты из тысячи и тысяч разных финансовых операций отслеживал плотно именно операции вокруг Якова Шумлова?

— Ну, так вот получилось...

— Я не праздно спрашиваю... Что там такого у тебя по арендатору?

— Спасая сыновей глав крупнейших корпораций, мы получаем дружбу глав крупнейших корпораций, — немного таинственно сказал Блефе. — А дружба с главами крупнейших корпораций всегда очень полезна...

Быть подробнее, внятнее Осип Германович не хотел. Для того, чтобы объяснить однокласснику, зачем из гигантского потока финансовых сделок он выдернул к себе под личную лупу дела Якова Витальевича Шумлова, пришлось бы начинать очень уж издалека. О том, как увяли, будто цветы по осени, радужные надежды после попадания задницей в Кремль. О том, как не сразу, но неумолимо, восторг метавшего свою задницу, как баскетбольный мяч, в кольцо всевластия, сменялся разочарованиями.

И зарплата, оказывается, не «такая уж», и начальство над головой многоэтажное, кататься-то ездит, а делиться не думает! Пришлось бы говорить о серьёзной ограниченности в действиях, приводящей к серьёзной ограниченности в средствах. Денежных. Проще говоря — пасли так, что особо не украдёшь... Те, кто выше, — другое дело, но они же выше! У настоящих чиновников «зарплата только на чай», а Блефе так неудобно сел враскоряку меж столоначальниками, что почти на неё и жил... И стали посещать несвоевременные думы о пенсии, что вот выйдет он — и что? Совсем никто станет?! Так он и без пенсии, до которой не близко, но страшно, и тут-то не скважины нефтяные распределяет! Что у Блефе, собственно, кроме ручек, блокнотов и юбилейных календарей со значками всякими, в подчинении?

Блефе работал в Аппарате Президента хоть и неудачно, но давно. И лучше других знал возможности, ограничения, пределы этого механизма, многократно латаного и перелатаного, так что от изначальных византийских лат-доспехов едва ль заклёпка осталась... Иллюзий о великом будущем взлёте Блефе не строил. Историкам, которые будут ломать голову над этой эпохой, если, конечно, цивилизация сохранится, Осип Германович мог бы помочь лаконичными и смачными мазками кисти очевидца.

«Я своими глазами видел, — сказал бы им Блефе, — как этот Президент, проявляя чудеса конструкторской смекалки, сделал почти невозможное. Превратил кучу дерьма в подобие бронепоезда. Но талант конструктора не отменяет качеств материала, из которого на скорую руку слепили локомотив сопротивления.

И теперь эта «машина возмездия», слепленная в буквальном смысле из кала человеческого, не только едет в атаку и даже пердит из говённой пушки во врага, но ещё и разваливается на ходу. А умные люди радуются, что у врага пушки не лучше! И что добиться это «чудо лепнины» бурого, медвежьего и фекально-

го оттенка, Запад не может по причине глубокого и запущенного сифилиса собственных костных, несущих опорных тканей...»

Такая вот битва двух тяжело больных, хлещущих друг друга капельницами из инвалидных кресел! С врагом повезло, не Наполеон, не Гитлер, спору нет. Но если посмотреть, из чего и из кого мы сами состоим и насколько шатка, зыбка, гниловата изнутри вся эта *mania grandiosa* якобы государственных якобы служащих...

Трещины тлена и вырождения пронизывали снизу доверху госаппарат, лишённый какой-то внятной цели, кроме самосохранения у кормушек. У Президента была — в некотором смысле романтическая, мечта — сохранение и расширение России, которую он с годами всё меньше отделял от себя, и в хорошем, и в плохом смысле слияния. Но у всякой кирпичной кладки, кроме эскиза архитектора, есть ведь ещё и качество слагающих кирпичей...

Под Президентом, удушаемым неистовым фимиамом курением, которое вредит как трезвости, так и здравому смыслу, находились толстые слои чиновников, жертв пьяного зачатия в свальном грехе 90-х. И то, что их там зачали фигурально, а не буквально, — только хуже. Понятно, чего от таких можно ждать. И понятно — чего нельзя от них добиться, даже угрозой расстрела...

Власть, лишённая большого смысла, сколько-нибудь удалённой и возвышенной цели, в сущности, жрала самоё себя и тот сук, на котором сидела. Что будет дальше — не знал не только Блефе, но и его начальники. Корпорации, вроде совенковской, выступали не столько опорами режима, сколько высокими скалами в океане-фекалиане, противостоящие вонючим волнам, но и подтачиваемые постоянным прибоем... Потому даже призрачный шанс зацепиться за скалу «Биотеха» — дороже всяких денег!

Но зачем эту длиннейшую исповедь выслушивать майору Вихрову, когда у него собственная ничуть не короче? Тоже там все эти стандартные проблемы с зарплатой, ипотекой, карьерой, коллегами «заминалами», общей тревожностью обстановки... И этим, ставшим притчей во языцех, полицейским мордоломным беззаконием, которыми полиция занимаются не столько даже по собственному желанию, сколько по невозможности вести себя иначе в сложившейся среде... Чтобы хоть чего-то добиться в деле охраны общества и элементарного выживания граждан!

— Я тебе скажу кратко, Костян! — торопился закруглиться Блефе. — Мне надо явиться к отцу Якова Шумлова с хорошим подарком... Подарить ему то, что купить мне не по карману! Теперь по тебе: лучший ответ твоему Фаршеву — блестяще раскрытое громкое дело, предотвращение массового убийства! Возьмёшь с поличным Шакапивова — сам понимаешь, мимо кадровых инстанций это не пройдёт!

— Судя по всему, Шакапивов твой в этом деле — топтунок и сосунок! Это надо страховую ком-

панию копать, потому что просто так такие вот договора, — Вихров потряс в шепоти ксерокопиями, подарком одноклассника, — не могут быть подписаны вбелую!

— Ну, Костян... — поморщился Осип Германович. — Я тебе дал след, раскрыл карты, зачем мне это нужно... А дальше ты уж подсекай, когда клюнет, я твою рыбалку не лезу...

* * *

Вихров действовал. Вместе с давно знакомым, почти другом, инспектором пожарной охраны Гарькой Имуновым они посетили «для внеплановой проверки» хоспис господина Шумлова. Игорёк, колоритный малоросс, в пожарах четверть века, в зелёном мундире как влитой! Он только одним глазом заглянул в копии договоров страхования, на сумму и на условия, и сразу выдал Костяну:

— На окнах решётки, на дверях «бульдोजки»...

— Какие ещё «бульдोजки»? — досадовал на свою пожарную малограмотность Вихров.

— «Бульдозки» — блокираторы дверей с пульта охранной сигнализации. Це таки устройства, коли на кнопочку натиснешь, и двери не открываются... Ну-ось, допустим, сидишь ты в машине, в руке брелок... Натиснул на кнопочку — и двери заблокированы... Дюже удобно — при таком типе страхового шахрайства...

— Чего? Какого ещё шахрайства?

— Мошенничества...

— А у нас автор конституции был — Шахрай!

— При ком?

— При Ельцине.

— А тогда шо тоби удивляеть?!

— Слушай, Гарька, — взмолился Вихров, — ты мне объясни: если тебе это сразу видно, то как в страховой компании не разглядели? У них же там тоже есть специалисты по пожарному делу...

— Ну, мне подобных нет! — кривлялся Имунов.

— Это понятно, но всё же есть и у них специалисты, корпоративные следователи...

— Воны идиоты.

— Ты думаешь?!

— Или в доле. Так тож часто бывает. Сумма дюже велика, максимальна ставка по страхованию життя. Если, як ты говоришь, речь идёт про бомжей, яких никто не хватится... Как тоби в руки-то вообще попало це дело?

— Очень странным и экзотическим образом...

— Добре заливать-то! Ни с того ни с сего, без ордера, без официальной выемки ты получаешь внутреннюю закрытую инфу из громадской страховой? Такое может сробить только финнадзор... А зачем ему это надоть? Из миллионов сделок выбрать одну — и «вывести в отдельное производство»? Ты разумеешь, это как в осеннем парке выбрать один листочек среди опавшей листвы... Если тебе сливает финнадзор, то ты сперва подумай, Костян, зачем это потрибно финнадзору до тебя снисходить?

— Ну, Гарька, это моё дело, а ты мне другое расскажи. Вот это, — Вихров выложил фотографии странного предмета с нескольких ракурсов, — может быть как-то связано с имитацией несчастного случая?

— А шо це таке? — спросил Имунов, разглядывая фото.

— Ну вроде как газонное украшение... В палисадничке коттеджа господина Шакапивова, сданного в аренду господину Шумлову, лежит посреди газона. По виду — аммонит, с кулак величиной, но больно уж странно оформлен... К нему концентрически сходятся декоративные галечные дорожки... Если это ландшафтный дизайн, то очень странный ландшафтный дизайн! Ни красоты, ни пользы, ни вида, масштабы искажены...

— Слухай, Костян, ты говоришь про делянку чоловика, якої собирається заживо спалити толпу стариков! Корыстливый мотив до меня, як до пожарного инспектора, понятен, и всё ж считать таку людину психично здоровым... Ну, Костян, я не лекарь, а все ж я не стал бы ...

— К пожарной провокации это может иметь отношение?

— Каким боком?

— Ну, как антенна, например?

Имунов захохотал.

— Вам бы романы писати, гражданин начальник! Давай пойдём до них в сий «дедовский сад» с инспекцией, и я тебе всё покажу: и как антенна выглядит, и как «бульдожки» с дистанционки действуют, и как решётки не открываются в нужный момент. И скорее всего, легко-горючие материалы, обильные в отделке... Це мой хлеб, Костян, я всю жизнь этим занимаюсь, меня и зовут даже Гарька, потому что четверть века я лазаю по разным гарям. В том числе прекрасно знамой мне породы недобросовестных страхователей... Но николи — слышишь, николи! — даже краем уха я ничего не слухал о пользе аммонитов для поджигателей...

Они снова съездили, уже знакомые персоналу хосписа, и Гарька Имунов «на раз» отыскал для майора Вихрова все «закладки».

— Вот видишь кружочки? — показывал торцы дверей главного, а после и пожарного выходов из коттеджа. — Вони превращаются в цилиндрики и блокируют двери намертву...

— С пульта?

— С пульта.

— Снаружи?

— Та откуда хошь! Хошь снутри, хошь снаружи. Ну ты же едзишь на машине, у тебя же есть брелок автомобильной сигнализации? И вот ты идёшь в магазин... шобы купить вино... — процитировал Цоя Имунов. — Вышел, небрежно за спину брелочком пикнул... Машину закрив! Було таке?

— Ну, было...

— Тогда тута тоби шо изумляет?

— Что скажешь о потолках?

— Я вже тоби сказав, еще при першей встрече... Теперь пидтверджую. Потолки коттеджа господина Шакапивова отделаны листами полипропилена ВЗ, что на нашем пожарном языке означает: «дуже легко возгораемый». Этим же материалом отделаны укось оконных окладов, и щё кое-что в интерьере... Горит як керосин, уж поверь моему опыту... Девятиэтажка два года назад сторела, сверху донизу весь подъезд... Потому что они балконы стеклили, именно такой полипропилен для экономии заказували... В одной и той же фирме! Огонь как пошёл с первого этажа, так и до девятого без останову... Со скоростью, Костян, лифтового оборудования...

— А что касается аммонита на газоне?

— Знаешь, як говорил Фрейд? Иногда банан — тильки лишь банан, а сигара — тильки лишь сигара... Я ценю твою пидозру, Костик, но будь я психоаналитиком, то я заметил бы в тебе профессиональную деформацию и признаки выгорания... Чего ты причепився до аммонита?

— Не знаю. Интуиция. У тебя же есть интуиция на поджоги?

— Исти. Я тоби хоч зараз покажу, где у пана Шакапивова в потребный час перегорит проводка, створивши наиболее частую и привычную причину возгораний в жилых, б...дь, помещениях... Готов головой поручиться, шо именно с проводки у него всё и отпланировано! Це и технически налегче, и следы потом сховать проше. Проводка та несчастная, вона ж як тёща, вали всё на неё, не ошибёшься!

— Ну вот, — подвёл итог майор Вихров, — а у меня тоже есть интуиция. У тебя на поджоги, а у меня на улики. Я как только увидел эту композицию на газоне — сразу понял: тут нечисто!

— Я кажу тебе, чога ты понял, Костя! Хочь я и не психиатр, але балуюсь на досуге литературкой! Ты нормальный чоловік, ты даже хороший чоловік...

— Спасибо!

— Не за шо! Ты глянул на газон и сразу просёк, шо хозяин сей делянки — псих. От эстетического, так казати, формления газону за версту смердит творческими потугами психопата! А поскольку он таку гнусь задумав, ось твоя интуиция и завязала эстетику с прогностикой... Прости на слове! Ще раз тебе кажу: Шакапивов — больной ублюдок, хитрый, як некоторые из них, но на всю голову больной. Некоторые вещи вин робит для делу: например, где-то найшов панели з полипропилена ВЗ, которы давно уже запрещены в качестве отделочных материалин... А некоторые вещи, як оформление газона пид окном, — вин робит просто так, самовыражаясь...

2

Никакие уговоры Гарьки Имунова не подействовали: у него ведь тоже свой профессиональный переко́с, ничего, кроме возгораний, не видит. Аммонит, приворожив взгляд Вихрова, уже не отпускал.

Майор замучил Интернет и всех в экспертизе своими запросами, узнал про раковины аммонитов всё, что можно про них узнать, пока однажды девочка из лаборатории вещдоков, чернявая, с виду «очень южанка», лейтенант с амбициями, не сказала ему, наигранно-легкомысленно:

— В старину аммониты использовались чёрными магами как «блеккумуляторы».

— Что?

— «Блеккумулятор». От слов «блек», «чёрный», и «аккумулятор», понятно без перевода...

— Ты откуда это знаешь, Наири? Чернокнижием балуешься?

— Нет, товарищ майор. Рабочий день долгий, дисциплина строгая, не уйдёшь... Почитываю лабораторный архив, старые дела... В старые годы, помните, когда расстреляли всяких Ежовых...

— Не застал! — улыбнулся Вихров.

— Ну, в тридцатые годы! Вначале они расстреливали, а потом товарищ Сталин их... На суд не попало, Советская власть мистики чуралась, но в отчётах экспертиз по делу проходили эти аммониты... Не как раковины, правда, а как рога египетского бога Аммона! Так вот: эти ловкачи-расстрельщики подкладывали аммониты в места массовых расстрелов. Классика торга с бесом: ты ему жертву, он тебе помогает в карьере... «Помог», как видите, до расстрельной стеночки! Но, с другой стороны — видимо, вёл, потому что черти эти до уровня наркомов как-то поднялись ведь... Когда ежовщину судили, хотели сперва им пришить «разложившийся мистицизм», но потом передумали. Так и не стали их аммониты к делу прикладывать... Может быть, ваш аммонит — один из тех?

— Очень может быть... Я не знаю его происхождения... — похолодело прошелестел майор Вихров.

— А на языке чёрной магии это называется «блеккумулятор». Особый ритуальный предмет, который насыщается жертвоприношениями... Сила «блеккумулятора» зависит от того, сколько жизней рядом с ним заклали. Хочешь, чтобы он на тебя работал, — принеси ему жертву. Больше жертв — мощнее и могущественнее оракул.

— А что он даёт в обмен на кровь?

— Ну, этого я не знаю, так глубоко не копала... Но в общих чертах догадаться нетрудно... Что обычно тёмному человеку нужно? Деньги, карьера, влияние... Может быть, места залегания кладов указывает или что-то типа того... Может, волю собеседников подавляет или действует в переговорах как «сыворотка правды»... Но это, товарищ майор, всё только мои домыслы! Чтобы в точности узнать, надо лезть в чернокнижие, а я не хочу. Протоколы же экспертиз насчёт целей блеккумуляторов ничего не говорят...

— Спасибо тебе, Наири! — от души поблагодарил майор. — Ты же мне горяченьким мотив преступления выдала!

— Да не за что! — улыбнулась южанка в погонах. — Обращайтесь! Кстати, имейте в виду, что в ваших непонятках с Фаршем я на вашей стороне...

— Очень это ценю, Наири!

Теперь, имея ниточку Ариадны, Вихров, подобно Тесею, легко нашёл в лабиринтах Интернета кучу сведений про блеккумуляторы. Действительно, самая распространённая их форма — в виде спиральной раковины, хотя есть и «колпаки» в виде белемнитов. Тех, ископаемые останки которых в народе издревле называли «чёртовыми пальцами»...

«И вот кто-то, видимо, задумал подпитать блеккумулятор в месте массового убийства стариков...» — с мурашками по коже осознавал Вихров. Но чем больше он размышлял перед раскрытыми сайтами, зловеще мерцавшими с экрана его служебного монитора, тем больше понимал, что блеккумулятор заряжает не Шакапивов!

«Если бы этот подонок хотел зарядить тёмными энергиями убийства невинных свой аммонит... То он бы не устраивал страхового мошенничества! На кой чёрт ему подставляться с этими страховыми полисами, по которым на него могут выйти? Будь у него целью подпитка бесовского рога — он как раз избегал бы любых наводящих «сопутков»! Шакапивов, — уверялся всё плотнее майор, — вертит мутки с полисами для денег... За Робом Ламовичем стоит кто-то другой, который использует Роба Ламовича, прикрывается им, уводит возможное расследование на Шакапивова с его очевидным мотивом и не менее очевидным участием...»

В самом деле: поверхностное следствие, каким оно бывает в 99% случаев, свалит вину на директора хосписа, по статье «преступная халатность», потому что очевидная картина: пожар в социальном заведении, виноват руководитель! В тех редчайших случаях, когда следствие окажется не скучающим, не зевающим, не заваленным тридцатью параллельными делами на одного следователя, а почему-то заинтересованным... В тех исключительных случаях следствие выйдет на Шакапивова. И такому следствию пинкертонов останется только рукоплескать, дарить им лавры Шерлока и Эркюля!

Но есть и третья фигура. Та, которая вообще недоступна криминальному расследованию, каким бы тщательным то ни было! Третья фигура позволяет Робу Ламовичу спрятаться за Якова Витальевича в банальной фабуле страхового мошенничества... Сама же третья фигура делает только одно: размещает странный предмет на странной лужайке с концентрическими дорожками из галечного камня... Даже если неопровержимо доказать, что это сделало третье лицо, не Шумлов и не Шакапивов, то по какой статье пойдёт третье, таинственное лицо?

«Давно не читал УК, — иронизировал над собой Вихров. — Но вряд ли в УК есть статья за уродливый ландшафтный дизайн!» Однако третье лицо как-то связано с Шакапивовым. Не может совсем уж чужой человек выкладывать камушками композицию на

участке, принадлежащем Робу Ламовичу! Как минимум, Роб Ламович или арендатор должны это третье лицо впустить через ворота!

Вторая зацепка: третье лицо обязательно явится за своим блеккумулятором после пожара. Для него это — дороже десятков жизней, пусть и старых бомжей, но всё же человеческих! Третье лицо положило аммонит на линию сбора тёмной энергии... Третье лицо его и заберёт. Когда будет забирать — можно взять из засады, правда, непонятно, с какой, так сказать, процессуальной целью? Конечно, есть в Кодексе кое-какой махонький срочок за мародёрство на местах стихийных бедствий, но большего-то третьему лицу не пришить! Да и примет ли судья за факт мародёрства похищение камня с газона?

Вихров чем больше думал, тем отчётливее осознавал: Шакапиров подставляет арендатора, надеясь из одного коттеджа сделать десять... Но в то же время кто-то использует Роба Ламовича, и даже... И даже... Что?! Деньги — это бумага, говорите? Для тех, кто их печатает, или в ближнем доступе — да, бумага! Это для проходимца Шакапирова они, деньги-то, высшая ценность и главный приоритет! Потому что ему, подонку, никто не даст их множить просто под копирку...

Но если Некто обладает частичкой магического кристалла власти и думает нарастить кристалл, то для него дензнаки — не больше, чем макулатура. Вряд ли тот, кто обклеивал газетами стены под обои, думал о ценности газетных текстов! Вряд ли тот, кто обклеивает магией мир под личную власть, думает о ценности денежных номиналов, нолей на купюрах...

Для такого существа Шакапиров — находка. Идеальный технический исполнитель, который даже не знает, что он исполнитель! Ни под какими пытками Роб Ламович не сможет выдать заказчика, потому что понятия не имеет ни о каком заказчике... Роб Ламович Шакапиров убеждён до самой глубины и фибров чёрной душонки, что осуществляет мошенничество по собственной инициативе, в личные ворота. Он думает, как и все подонки, что хитрее всех: застраховал мертвецов, которых никто не хватится, подставил дурачка Шумлова... Развёл на бабки страховую компанию «КордНацСтрах»...

«Стоп! Вот с этого места поподробнее!» — попросил Вихров сам себя. Шакапиров разводит страховщиков в восторге, что они разводятся... Его мотив вполне понятен... Но с чего вдруг разводятся матёрые крысы в компании, которая отнюдь не новичок и не аутсайдер на рынке страхования?! Легко так, одним движением разводятся, словно бы подонку Робу дорогу расчищают? Так вот ты где, скрылось под маской «терпилы», «жертвы мошенничества», третье лицо с бесовским рогом Амона! Действительно, что тебе предъявишь? Не ты же деньги украл, у тебя украли! Точнее, ты как бы заплатил... Не торгуясь, стоимость десяти пригородных коттеджей... Потому что хочешь получить что-то гораздо более дорогое, правда? Ты осторожно, третье лицо, ты не

воруешь детей и не режешь их розницей в тёмных подвалах... Ты хочешь сделать дело оптом и чужими руками. Как это и принято у умных демонов приватизации, ты предпочло платёжку маранию рук... И теперь кто бы тебя ни вычислил — никакой уголовной статьи на тебя не приклеишь, так ведь? А Шакапиров тебя не сдас. Он про тебя не знает. Точнее, знает, конечно. Но не в том качестве. Сколько бы галлонов «сыворокки правды» не вкачали в Роба Ламовича под детектором лжи — Роб Ламович будет бормотать про тебя только одно: лох, которого я на бабло развёл...

И, поняв это, поняв, где искать «третье лицо», подожившее под будущее жертвоприношение античным методом гекатомбы чёртов рог, майор Вихров впервые в жизни задумался, как работает чёрная магия и какое искажающее воздействие она оказывает на жизнь человечества...

* * *

— ...Таким образом, — отчитывался, потев перед пристальным взглядом академика Совенко «друг из администрации» Осип Германович Блефе, — аналитической группой под руководством майора полиции Вихрова был раскрыт преступный замысел массового убийства питомцев ночлежки с целью страхового мошенничества... Предотвращена смерть десятков, может быть, не самых полезных и нужных, но всё же людей. В настоящее время, Виталий Терентьевич, «бульдожки» на дверях обезврежены, замки на оконных решётках заменены, узел «минирования» в электропроводке ликвидирован... Ситуация полностью под контролем, но... О чём просит Вихров... — Блефе смутился, опустил глаза.

Совенко подбодрил:

— Говорите. Я не барышня, чтобы ждать эвфемизмов, Осип Германович...

— Чтобы взять всю шайку с поличным... надо лопать комедию дальше... То есть ваш сын, чтобы он вёл себя естественно, ничего не должен знать... До самого момента поджога...

— И они ему ничего не сказали? — нахмурил седую бровь Совенко.

— Менты! — смутился Блефе. — Полицаи! Не владеют пониманием тонкости ситуации... Будь он, конечно... Тогда понятно... А он ведь ваш сын... Но они же легавые, Виталий Терентьевич, путают цель со средством... Им бы дельце раскрыть и звёзды обмыть с медалями-педалями... Я же политик, Виталий Терентьевич, я же понимаю, что думать надо не о каких-то там аферистах, а об одном из крупнейших налогоплательщиков страны... Они, легашня, могут далеко зайти! Они могут — как они считают, для пользы дела — не только подыграть с пожаром, имитировать вынос мешков под видом трупов, но и сына вашего... извиняюсь... в предварилку закрыть... То есть предъявить обвинение в халатности... Чтобы, значит, те думали — всё по-ихнему пошло... И оформили страховую операцию...

— Яшка, значит, будет в КПЗ сидеть, безвинно... А менты себе имя делать?!

— Ну, говорю же, полицаи, одна извилина в башке, да и та рубец от фуражки... — засуетился, даже заёрзал Блефе. — Но я-то, Виталий Терентьевич, зоркий на посту! Я как узнал, я прямо сразу к вам... Думаю, ну мы столько лет знакомы, то да сё... Могу ли я умолчать перед Виталием Терентьевичем, этично ли будет о таком молчать?! Они же, семя крапивное, ярыжное, совершенно даже не подумали о возможных нравственных страданиях Якова Витальевича в этой ситуации! Они ведь как думают, суки борзые? Они ведь думают: мы потом перед ним извинимся, объясним ему роль в операции по задержанию опасных преступников, может, даже сувенирно наградим... И типа, шито-крыто... А я их спрашиваю: кто ж Якову Витальевичу нервные клетки-то вернёт, кои сгорят на этой ихней провокации?!

— Точнее, меня?

— Что?

— Вы не их спрашиваете, Осип Германович, а меня. Их-то вы ведь не спросили...

— Помилуйте, Виталий Терентьевич, как же я их спрошу?! Я финнадзор, сошка мелкая, в одном ведомстве... Они криминальная полиция, совсем в другом ведомстве... Оно конешно, одно дело делаем, всё так, но спора они не потерпят... Совет дружеский — да... А как начал спрашивать по всей строгости, они моему начальству наступят! Я поэтому к вам, Виталий Терентьевич!

— Гражданский ваш поступок Родина не забудет! — утешил Совенко вертуна. — А что касается нервных клеток Якова Витальевича... Может быть... — Совенко тяжело и глубоко задумался, а потом выдохнул созревшее в новых обстоятельствах: — Может быть, ему и стоит их потратить... Именно озвученным вами способом...

— Вы думаете?!

— Я отец. И я думаю. О нём. И потому попрошу вас, Осип Германович, держать всё это в строжайшем секрете. А ментам — если случится им советовать — советуйте действовать так, как они задумали... Отныне вы, Блефе, мой друг, и это — дружеская просьба...

— Виталий Терентьевич. — Блефе вскочил с кресла, чуть не опрокинув пепельницу с дымящейся забытой сигарой, по-бабьи приложил ладошки к сердцу. — Но как же? За что же?! Яков Витальевич такой светлый человек...

— Он не светлый, — осёк Совенко. — Он наивный.

— Но какая...

— Большая.

Блефе, по правде сказать, обалдел. Он не знал уже не только, что сказать, — не знал, что и думать. Отец своими руками толкает единственного сына в камеру предварительного заключения — ради чего?! Ведь преступление уже предотвращено! Всё ради удобства ухватки ментам, которым, конечно, про-

ще, если Шакапиров явится в силки оформлять страховую выплату, а не скроется в неизвестном направлении...

— То есть... Ваш сын... Послужит подсадной уткой?!

— Да. Не для полицаев, конечно. Сам для себя. Я уже перепробовал все средства воспитания, Осип Германович, и другого не вижу...

* * *

— Марксистский исторический оптимизм, — развивал он тему дальше перед всё более обалдевающим собеседником, — предусматривает неисчерпаемые резервуары братушек-добротушек, какие-то гомерические толпы пусть угнетённых и униженных, пусть наивных и растерянных, но в основе своей чистых и справедливых людей.

Игравшая роль кависты¹ сервираторша Ирина, словно призрак, соткалась из стены с бутылкой коньяка королевских домов, Bernard Boutinet. Разлила «по таре» с точностью и тщанием ювелира. И Осип Германович, сидевший на плебейском уровне попсового Hennessy, созданного для понтов и даров средней руки предпринимателей, на любимом нуворишами Johnnie Walker Blue Label, — смотрел на герблёный золочёный лейбл, как коза на новые ворота.

Тот, кто в винных бутиках не ходил дальше «элитной» полки с Macallan, выбирая «интересный винтаж» на вкус слуги, кто не знает ароматов сильнее массовых односолодовых вискаррей и не посещал на экскурсиях ничего, кроме показательных вискикурен Шотландии, вряд ли кушал коньяк дороже Maison Guerge, а потому Bernard Boutinet ставит такого потребителя миллионных тиражей «спиртного эксклюзива» в недоумение...

— А вот когда весёлые марксисты, — пригубил коньячный стакан-линзу Совенко, — сталкиваются с очевидным фактом, с тем, что освобождённые ими «жертвы режима» такие же говнюки, какими были их угнетатели... Все, как на подбор, за редкими исключениями... Тут кончается их искусство, и опускаются руки, и жухнет Марксова борода...

Тема этой беседы совсем не волновала сердца Осипа Германовича Блефе, но вот её тон, некоторая интимность искреннего признания — льстили. Осип Германович всем корпусом подался вперёд, накрываясь из кожаного кресла ближе к Совенко. Показывая выпуклыми, излучающими внимание глазами профессионального прихлебателя — будто всю жизнь страдал об увядании марксизма...

— Закусывайте! — с радушием предложил Виталий Терентьевич, хотя закусывать было особенно нечего. Беседа вошла в узкий деловой формат бизнес-встречи, с правилом четырех «С» — кофе (café), коньяк (cognac), сигара (cigare) и шоколад (chocolat).

¹ Кавист, кависта — специалист по алкоголю, рекомендатор, консультант.

Собственно, только последнее «С» подходило под предложение закусить, да и то с натяжкой.

Блефе с мольбой глянул на красавицу Ирину, но она была, словно стюардесса у Высоцкого, «надёжна, как весь гражданский флот», холодна и каменна, без подсказок.

— Я не верю в человечность подавленных народных масс, — сознался Совенко, — как не верю в то, что подавленный чеснок станет сладким! Есть не классы, а человеческая природа, склонная жрать ближних и себе подобных! Когда появляется возможность стать буржуем — у нас буржуем становится почти любой.

Ощущая себя смердом, сервом и вилланом, Блефе смущённо шуршал фольгой из серебра, в которую был обернут особый коньячный сорт шоколада Frey. Того, в котором курага, мед, миндаль, орехи и нуга. Открыть аккуратно не получилось, в итоге Блефе изорвал всю обертку. Как любой нормальный человек, едва смог удержаться, чтобы не скатать тонкое серебро в шарик и не унести в кармане. Мед и миндаль придавали шоколаду изысканный и неповторимый вкус. Нуга чувствовалась при таянии шоколада во рту.

— И я давно бы застрелился, — мрачно сообщил Осипу Германовичу олигарх, ставший другом, — если бы не это волшебное слово «почти»... В каждой тысяче, смешанной из богатых и бедных, составленной из законченных, вполне сформировавшихся подонков и изуверов... я всякий раз нахожу одного человечка с книгой в руке и любовью в сердце... Он редок, как альбинос в крысиной стае, но он берётся откуда-то снова и снова, один на тысячу, и ради него, одного из тысячи, только и имеет смысл жить и бороться! Конечно, ни о какой «демократии» или «большинстве» речи не идёт, вы уже поняли, из кого составляется большинство человеческое...

* * *

Что-то, отдалённо напоминающее совесть, кольнуло в сердце майора Константина Вихрова. Доселе оно, с совестью смутно схожее, не беспокоило — потому что перекрывалось азартом пружей, будто в казино, удачи. Главк МВД вцепился в тему, подаренную Оськой Блефе, вцепился с собачьим урчанием, упоённо и азартно. Что же касается Вихрова, то его более чем устраивал наведённый, как порча, режим секретности. Для Главка такой режим — гарантия успешного отлова по громкому, сулящему славу и повышения, делу, а для Вихрова — шанс обойти кабана Фаршева. Ведь до Фаршева ничего не довели...

Например, Фаршев не догадывался, что пожар в хосписе для пожилых малоимущих был заранее предсказан, что стариков тихо эвакуировали, а после пожара в пластиковых мешках под видом их трупов выносили муляжи. Фаршева поставили перед голым фактом в зоне его ответственности: есть десятки мертвецов, за которых по головке не поглядят,

и есть руководитель хосписа, на которого легко всё свалить!

Фаршев всей своей свиной тушей, массивно пёр в ловушку, которую заранее на него расставил, а теперь стеснялся хитрый заместитель.

— Надо немедленно арестовать Якова Шумлова! — требовал Фаршев. — Чтобы не сбежал...

— Может, под залог? — робко предложил Вихров, прекрасно зная, что Шумлова брать совершенно не за что. — Куда он денется?!

— Нет, сбежать может! — орал Фаршев, думая, что прикрывает себе задницу, а на самом деле оголяя её. — Ищи потом по всему миру! Это ж случай-то какой, массовое убийство! Да мы мундир вовек не отмоем, если главный виновный смоемся!

«По идее, всё идёт мне в руку, — думал Вихров. — Только этого Шумлова жалко... Вот уж воистину, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным... Человек хотел пожилым бомжам старость обустроить, и вот тебе: посадят в СИЗО!» «А там и Фаршу коней! — советовала с левого боку подлость. — А кто сделал — молодец! Не мешай ему в петлю лезть, Костя, он бы тебе не помешал...»

— А Шумлов?

— Шумлов посидит, да выйдет. Делов-то! Как только господин Шакапиров оформит страховые выплаты, берём того, кто утвердит закрытие контракта, и вся шайка в руках... Тогда нет дальше смысла ломать комедию с пожаром в доме престарелых!

Половинчатое, робкое и неустойчивое сопротивление немедленному аресту Якова Шумлова Фаршев истолковал как попытку своего ненавистного зама покровительствовать сынку знатного человека. И в этом напоре было уже что-то личное.

— Санкция есть! — размахивал подполковник бумажкой. — Санкция от прокурора на арест!

Санкция была, правда, не от районного прокурора, осторожного в защите закона и неосторожного в личной жизни, господина Супольева, а всего лишь временка от его помощника Осыпашина, и Вихров сомневался, что помощник прокурора, не заместитель, вообще имеет право такие бумаги подписывать. Зато Осыпашин сам в себе не сомневался и показывал ту главу закона, в которой сказано, что помощник может заменять прокурора в суде на правах прокурора.

— Так то в суде... — оттягивал Вихров, сам не зная чего.

Осыпашин каким-то чёрным и параноидальным энтузиазмом лишил Фаршева сомнений и естественных для погрязшего во взятках полиция опасений. Фаршев прикрывался Осыпашиним, а тот себя вёл так, как будто личные счёты с Шумловым сводит.

Началось всё сразу после регистрации происшествия в дежурной части. Уголовно-процессуальный кодекс России не содержит каких-то запретов по поводу выезда на место происшествия помощника прокурора, однако всякий нормальный человек понимает, что помощнику там не место.

Но там сразу начался дурдом. Фаршев понагнал и зазвал множество самых разных лиц, которые мешают работе следственно-оперативной группы: и руководство полиции, и чины прокуратуры, и городские опера в прибавку к местным, и «запасные» городские криминалисты. Все они дружно затаптывали следы преступления и отвлекали следователя.

Что касается Осыпашина, то он заявил: я закреплён за вашими следователями, я проверяю их дела, пишу им замечания, чтобы быть вправе поддерживать потом обвинение в суде! Я начну контроль за действиями следователя с самого первого шага: с осмотра места преступления!

И — закусил удила. Подтолкнул Фаршева не робеть и брать Шумлова тёплым...

* * *

А что ему, вправду, сделал этот Шумлов?

Ничего. Он не знал Шумлова ни с какой стороны. Его просто достали и допекли «мажорики» с их неизменной безнаказанностью. Десятки трупов, а тот сейчас улетит куда-нибудь на Мальдивы, бросив залог за себя, как кость, и не достанешь!

Оглянувшись вокруг, Осыпашин чаще всего видел свой незавидный кабинет в прокуратуре: фикс на обшарпанном сейфе, на металлическом борту которого наклеена зелёная жанровая картинка бегущего человека: аляпистая схема эвакуации при пожаре.

Узкие коридоры, обитые гулкой на простук, кое-где проломленной фанерой на рейках. Пластиковое окно, забранное белокрашенной решёткой, которая, чтобы не походить на тюремную, была выполнена в форме мишени или паутины. А в гардеробе — красивая синяя форма с золотыми (из натурального золота) майорскими звёздами младшего советника юстиции...

До поры до времени прокурор со своим помощником жили душа в душу, пока их, как ни странно прозвучит, не рассорили выборы. И не потому, что они за разные партии голосовали, а за ту суровость, которую Супольев не преминул — лично — проявить к мужичонке, нахулиганившему на избирательном участке.

— Что бы ты с ним сделал? — полушутя спросил Супольев у Осыпашина.

— Отпустил бы и протокол порвал...

— Эх, брат! Нет у тебя правосознания! Закрывать глаза на преступление?

— Велико ли преступление? Кефиром окропил избирательную комиссию... Чать не кислотой...

— В следующий раз, Дементий, будет уже кислота. Бить их надо. Давить. Сволочь недобитую, тоталитарную...

Осыпашин так не считал. Он, невольно присутствуя при диалоге правонарушителя с районным прокурором, как-то проникся идеями, звучащими от траченного жизнью мужичонки в шоферской ка-

ракулевой кепке. Как это бывает иной раз у русских людей — малограмотный водила из заштатного автопарка, пустившийся на мелкое хулиганство, объявленное крупным, оказался вдруг былинно-красноречив и совершенно неожиданно убедительным. То ли это советское образование сказывается в этих скуластых, щетинистых владими́ро-суздальских залесских типажах, то ли родовая непрерывная и прямая связь с эпической традицией, но иной раз такой вот, по гаражу одежонку собравший, скажет складнее профессоров.

— Понимаешь, — втирал мужичонка прокурорским работникам, глядя в упор и не мигая, ворожа на Супольева, — в своей квартире я есть. И за столом я тоже есть — со шпротами или без шпротов, но это я. Я есть у себя в гараже, а ещё я есть на своём рабочем месте. Меня могут забрать в полицию, понятным или подозреваемым...

— Да вот уже и забрали, добился! — ёрничал Супольев.

— Всё это моя жизнь — а на твоих выборах-перевыборах меня нет. Не потому, что я туда не хожу, а потому, что я там микроскопически невидим. Возможность выбрать профессию для меня гораздо важнее, чем возможность якобы выбирать якобы президента!

— Не хочешь — не ходи, ты свободный человек! Тебя освободили от советского рабства! А ты пошёл и такое там сделал — а теперь весь кругом обиженный сидишь...

— Я хочу, — настойчиво скрипел иконописного вида мужичок, — иметь выбор из нескольких профессий, как при несменяемом Брежневе, а не ехать в чужую страну сезонным рабочим! Вы мне презиков менять предлагаете, а мне работать негде!

— Ну, знаешь... — всплескивал руками в золотых перстнях, болтами, от служебной скромности, повернутыми вовнутрь ладони, прокурор Супольев. — Тобой одним мир не исчерпывается! Есть и другие люди, и у них есть работа...

— У них есть, а у меня нет. А я хочу, чтобы у меня была. Почему я должен думать про чужих, которым очень хорошо, и не думать о себе, которому очень плохо?! Ты со своими уличными манифестациями и выборами на альтернативной основе — мне-то никакой альтернативы не оставляешь! Ты зовёшь меня из мира, в котором я наделён, я есть, в котором запланировано для меня место, зарезервирован рабочий стол и столик... в столовке, в мир, в котором меня нет! Твой мир и все эти проблемы, которые ты считаешь важными — для меня по ту сторону телевизионного экрана. А я живу по эту сторону! Мне от тебя не свобода нужна, потому что я и был вполне свободен, пока вы не пришли! Мне от тебя нужна моя доля, которую ты отнял, сделав меня обездоленным! Вот я и говорю тебе: не суй мне своих клоунов в избирательном бюллетене! Наделй меня обратно: работой, заработком, колбасой, квадратными метрами жилья и погонными метрами ткани...

— Как это пошло... — вдруг превращался районный прокурор в либерального интеллигента. — Мелко, примитивно, приземлённо!

— Может быть... — упрямо шёл шофер, оторванный от баранки и оторвавшийся в хулиганской выходке. — Меркантильно, забыл добавить! Эгоистично! Но я хочу, чтобы у меня был свой надел, а не за чужие лагифундии драться! Объясни, в какие сроки и какую квартиру мне выдаст твоя власть! Выдаст по ордеру, а не «позволит купить», как вы любите уходить от темы!

«Дебил!» — подумал Осыпашин. И не про мужичонку, баловавшего с кефиром на избирательном участке, а про своего начальника. Дело в том, что младший советник юстиции Дементий Осыпашин давно, тайно и убеждённо, но трусовато недолюбливал ту власть, которой служил. И которую наивно думал исправить участием. Ненависть к хозяевам жизни очень легко использовать этим самым хозяевам жизни, если найти нужный подход к ненавистнику.

Что хозяева жизни обычно и делают, не пытаясь добиться от легавой своры любви.

Помощник прокурора Осыпашин был тем ясноглазым, узколобо-правильным служакой, каких легко и постоянно вербуют чёрные маги, экономя на них деньги: цепляя на основе их искренних убеждений. Маг подсунет такому одну, две, три «улики» — и вот уже очередной «синий мундир» лихо и со знанием дела начинает преследовать того, кого магу нужно уничтожить. Он делает напрашивающийся из улик, как бы естественный выбор — что называется, «в желанье правды и добра», не догадываясь, как искусно подогнаны «реакции чистой совести».

* * *

Одноклассник Оська Блефе, со своей стороны внимательно следивший за ходом дела, поздравил Вихрова, что кабан-подполковник и идиот-помпрокурора верной дорогой движутся к тому обрыву, с которого и попадают, сломав шеи.

— Ты не представляешь, что такое Совенко! — восторженно щебетал Блефе. — И что значит ему дороге перейти! Он, Костян, взглядом убить может!

— Ладно тебе сказки рассказывать...

— Не сказки, а чудеса. Чудеса реальны...

— А помнишь, Ося, вы меня в школе Вихровом¹ дразнили?

— Вот к чему ты это сейчас вспомнил? — опешил Блефе.

— К тому, что ведь это очень много нужно было нам знать, чтобы смеяться, когда Вихрова называют Вихровом... Современный человек вообще не введет, где тут юмор...

— Ну и к чему ты это всё?

— Мы очень изменились, Осип. Очень.

— Тоже мне, открытие сделал! Кстати, Совенко бы оценил...

— Что?

— Ну это. Он знает, кто такой Вихров.

Трудно сказать, мог ли Виталий Терентьевич Совенко убить взглядом, но зато хорошо известно, что совсем не это почитал он настоящим чудом. Настоящим чудом он с гордостью за себя считал «котлеты кабачковые», в советские годы пошедшие в массовую продажу в забавной картонной упаковке наивного стиля, со вкусными рисунками художников-примитивистов. Про эти котлеты никто, если заранее не предупредить, не догадывался, по вкусу, что они без мяса. Их даже кошки ели, хотя кошка не станет есть вегетарианский продукт!

Он хитрил, обманывая вкус специальной панировкой, добавляя мотивы фарша магией кориандра и других специй, а обхитрив, с детским восторгом объявлял дегустаторам, что это его личный вклад в «Продовольственную программу» Советского Союза, что кабачков гораздо больше мяса, и они куда дешевле, и доступнее, и... и...

После распада СССР кабачковые котлеты авторства «Биотеха» неожиданным образом стали популярны у интернационала... жуликов! Наивная коробка исчезла, котлеты, благодаря кориандровой хитрости, стали напрямую выдавать за мясные. И уже не кошкам — покупателям!

В итоге АО «Биотех» судился с пищевиками из десятка постсоветских бантустанов, от Прибалтики до Кушки, за незаконное использование его патентованной разработки и невыплате «авторских» большими и малыми фирмочками пищевой отрасли. Штрафы за эти злосчастные кабачковые котлеты проходили даже отдельной строкой в доходном перечне корпорации, потому что юрист высочайшего класса Исав Маркович Плюмкин умудрялся вытребовать «авторские» даже в тех странах, с которыми у России не осталось дипломатических отношений. Как он умудрялся выиграть суд в пользу российской компании в Грузии — никто не понимал, даже в коллегии адвокатов. Да ещё и дистанционно — не выезжая на место! Потому что Исав Маркович Плюмкин тоже, как и академик Совенко, был волшебником...

— Просто-напросто надо-таки любить своё дело! — восхитительно-чирикающим говором объяснял Исав Маркович. — Надо-таки, не побоюсь этого слова, любить те кабачиковые котилетты, которые ты представляешь в судейском, образно говоря, заседании...

И, надо сказать, в данном конкретном случае Исав Маркович нисколько не лукавил. Он действительно любил кабачковые котлеты в каноническом варианте «Биотех-полуфабрикат», считал их вкуснее, а главное, полезнее для расшатанного тяжбами здоровья, чем мясные...

¹ Рудольф Вихров (1821–1902) — великий немецкий врач и биолог, изучался в советской школе как отец клеточной теории в биологии и медицине.

По сравнению с незаконным использованием патентованной технологии кабачковых котлетных полуфабрикатов в ближнем и дальнем зарубежье дело Якова Витальевича показалось Плюмкину сущим пустяком и вздором.

— Я личной персоной, — говорил он с характерными особенностями карамельно-вкрадчивой речи, — очень позволите, Виталий Терентьевич, сейчас же посетитчу этих, если можно так выразиться, лицаев... И забирау Иакова ко вам...

— Торопиться не надо, — ласково взял адвоката Совенко за декоративный лоскут, очень изящно, дизайнерски изображающий заплатку на локте замшевого пиджака «haute couture». — Торопиться не надо, Исав Маркович... Надо бы ему, понимаете, посидеть там, подумать, поразмыслить...

— Ой, я вас умоляю, Виталий Терентьевич, о чём там мислить?! Там же нет условий...

— Ему есть о чём...

Плюмкин тут же понял «линию партии» и моментально переменялся:

— С другой стороны, конечно, есть ряд процессуального основания, когда задержанного можно-таки цинично не отпускать на руки... Обычно полицаи не догадываются этих тонкостей, но как знать, если эти отличниками били?

— А вы езжайте, Исав Маркович, и если что — им подскажите...

— Ну, если посмотреть с этого угла точки, то мы ведь с полициямаи делаем одно дело в рамках развитого правосознания. Молодим я всегда с вниманием слушал советы более опытных, в, извините за выражение, юриспруденции...

* * *

Когда Фаршев увидел в клеенчатых дверях своего незамысловатого, тесного, углом выгороженного кабинета известного адвоката Исава Плюмкина, то сперва, как говорят в народе, «нэмого оробэл». Исава Марковича полицаи знали с выгодной, но не лучшей для них стороны. И подполковник даже произвольно спрятался за спину решительно настроенного Осыпашина, когда услышал:

— Я, видите ли, представляю интересов зидержанного вами Иакова Витальевича Шумлова...

Робость Фаршева сменилась торжеством (он думал теперь только об окончательном посрамлении навязанного Главком зама), когда господин Плюмкин не только не предьявил оснований выпустить подзащитного, но и накидал примерно двенадцать оснований его сохранения под стражей. К своему стыду, много лет служивший в полиции Фаршев некоторые из них услышал впервые.

«Матёрый дядька! — думал он с восхищением. — Цитирует статьи по памяти, как будто перед ним раскрытая книга!» При такой линии защиты, поставившей Осыпашина в тупик изумления, а Фаршева в восторг предвкушения, — судьба Якова Шумлова оказалась предрешена...

3

— ...Как я могла, дура?! — истерическим льдом бултыхнулось у неё в хорошенькой, но не слишком умной головушке. — Как мне в голову пришло?! Он что, нефтяник? Он — биотехнолог, и был биотехнологом раньше моего рождения! Конечно, он раскусил... Как я могла выдумать, что он не раскусит такой дешманский трюк?

У взмокшей от ужаса Иринки вся жизнь пронеслась перед глазами. Жизнь эта была короткой и не слишком радостной...

— Как ей повезло! — говорили родители и родственники, в простоте своего положения простых людей. — Какой красавицей родилась! Все модельные данные — при нашей Иришке...

Тонкие черты лица. Рост. Талия. Бёдра. Грудь. Роскошные, от природы чуть вьющиеся локонами дворянских миниатюр светлые волосы. Параметры!

Именно безупречно-красивым женщинам достаются самые поломанные судьбы. Ежедневно, перед зеркалом, не видеть в себе никакого изъяна — это всё равно, что всё время пьяной ходить. То есть: без мозгов и понимания реальности...

Подружки-дурнушки давно уже расхватили то, что поплеше, обзавелись неказистыми мужьями, лопухими младенцами и бедняцкими площадками под барбекю... И все они дули в уши — может быть, ради мшнения той, кто очевидно красивее их, — что её ждёт блестящее будущее, банкир, олигарх, хоккеист высшей лиги... А она, дура, сама поверила истоиво: «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»... Все кандидатуры в мужья были ниже её стандарта. Все предложения работы — унизительны в своей прозаичности. Она пошла в модельное агентство, и её незамедлительно приняли... Платья «от кутюр» сели на неё как влитые, подиумы модных показов ограняли её, как оправа оттеняет бриллиант...

Она примагничивала к себе богатых мужиков — и они, конечно, липли. Банкиры не преминули появиться в её жизни, причём во множестве. Но вот незадача: исчезали они так же быстро, как появлялись! Их некрасивые жёны были, однако же, им ровней: «деньги к деньгам», брак в XXI веке — это уже коммерческое вложение, а не «буйство чувств иль половодье глаз»... И когда Ирина поняла, что банкиры исчезают с той же неизбежностью, с какой и возникают в судьбе, она поняла и другое. То, в чём сперва не хотела себе признаваться: как почти всякая модель «от кутюр», она — девушка эскорта...

Привычки к красивой, сладкой жизни заставили забеспокоиться: годы идут! Короток бабий век, что со мной будет, когда первозванная свежесть отцветёт, лепестки чудной розы осыплются? Надо что-то менять, но как и что? Она же — как выяснилось — ничего не умела, кроме как «подавать себя» и вертеть бёдрами... Но это тоже не так уж и мало! Вместо привального кастинга модели она однажды пошла на соискание другой должности, в АО «Биотех». Босс —

миллиардер, советник Президента. Заслуженный гибридизатор, съевший собаку на биотехнологиях, он и сам был гибридом. На Иришкин взгляд — гибридом Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова. Черты того и другого в нём слились, как в сплаве: он и престарелый предводитель дворянства, и великий комбинатор... Такому человеку подавать кофе и печенки должны только очень красивые женщины — считается, что он это заслужил. Ирина показала себя с лучшей стороны (со всех лучших сторон) — и снова триумф, спасибо папе с мамой, по любви её извалья!

— Годится! — лениво бросил босс слово на ветер. — Дальше некогда смотреть, эту...

Ей выдали корпоративный зелёно-золотой (цвета неспелой и, соответственно, спелой нивы) шарфик с логотипом АО «БТ». Иришка уложила его элегантным каскадом, красивым и быстрым, в одно движение осуществляемым лёгким узелком для шелковых шарфов. Теперь он всегда увенчивал её строгий офисный жакет — или, на «опен эйр» — её кашемировый кейп. На аппетитной и манящей груди, над сердцем, прикрепила корпоративный значок, отливавший выпуклой эмалевой линзой на серебряной основе: «АО «БТ». Многообещающее начало! Утром кофе, вечером постель, а там, может быть...

Ирина не просто умом, а самим пульсом своим, токующим в висках, понимала: у неё последний шанс. Потому что у неё — последние годы молодости, а дальше начнутся целлюлит, мелкие сперва, но уже неизбежные морщинки, огрубение кожи и... О таком не хочется думать!

Сказочная птица «обломинго» — розовая, как фламинго. Она прилетает на поля розовой мечты и там клюёт массивным веганским клювом, заменяя собой орлов и соколов девичьей мечты...

Новый босс был всем хорош, кроме одного: он был уже стар. Если женщины и интересовали его теперь, то очень мало и, в основном, те, кто напоминали ему его юность: так сказать, ретро, ностальгия. У него в лимузинах — радио «Ретро» играет... Его скорее возбуждала какая-то стерва под «полтинник», мечта пластических хирургов — которую он помнил молодой и себя молодым с ней, а на Ирину со всеми её первосортными прелестями он смотрел как на кофемашину. Ирина поняла, что призвана возбуждать его посетителей, подчёркивая возможности хозяина, но не самого хозяина, которого укатали крутые горки и которому всё давно уж пофиг...

Она старалась. Боже, как она старалась — какие мини-юбки надевала, какие глубокие декольте, насколько прозрачные блузки... Её хвалили в отделе кадров за «попадание в образ», им такая и нужна рядом с боссом, но его взгляд был мёртв и пуст. А она не отделу кадров АО «Биотех» хотела нравиться, ей там максимум что выпишут — стандартную нищенскую российскую пенсию...

И бабье очтаение толкнуло Ирину на опасный шаг: однажды она добавила шефу в кофе виагру...

Как будто бы перед ней стандартный нефтебарон или банкир, никакого запаха, кроме аромата свежеспеченных купюр, не различающий... А он, Виталий Терентьевич Совенко, всё сразу понял, стоило ему лишь сделать маленький глоток...

* * *

Ему и отпивать бы не пришлось, он поймал бы чужеродный аромат уже с лёту, лишь поднеся чашечку к губам, но... У него выдался трудный день. Сбивающий с «длинной волны». С утра он делал то, что — редкий случай! — ему не хотелось делать, и было очень трудно делать. Уголовник-рецидивист по кличке Робин Бэд (так его называли в юности, иронизируя над Робинотом Гудом) появился в кабинете босса прямо перед кофейным подносом в руках Иринки. Роби, как и босс, тоже был уже далеко не первой молодости, и он откровенно устал, истаскался в жизни воровской. Ему хотелось покоя, «забыться и заснуть». И стареющий Роби в бледнеющих от возраста наколках нашёл выход: он «шакалил под тигром». Так проще, чем самому ходить на дело!

Совенко говорит — а Робин Бэд делает. По своему профилю, но обычно не слишком трудные делюшки. У Совенки конечно же есть официальная служба безопасности на фирме, как и у Франции есть собственная армия; но как Франции нужен иностранный легион, чтобы не толкать на периферийные авантюры французов, так и Совенке... Ну, вы поняли...

Робин Бэд не числился в штате АО «Биотех». Он был «внештатный корреспондент», и с ним заключались «трудовые договора». Как, например, сегодня...

— Ходку сделаешь? — поинтересовался Виталий Терентьевич, и в его голосе Роби впервые, даже со страхом, почуял просительные, умоляющие интонации. Так не приказывают. Так просят об услуге.

— Мне не привыкать... — осклабил Роби фиксатую пасть ветшающего хищника.

— Ненадолго так, санаторно, Роби... В СИЗО, не в лагерь...

— Прессануть кого-то треба? — понимающе закивал Робин Бэд.

— И не кого-нибудь, а...

Дальше, с нарастающим изумлением, Роби слушал жизнеописание сына, единственного наследника Совенко. Узнал для себя очень много нелепоного, например, сколько стоит «вытащить со шконки» датского фармацевта, оклеветанного датскими же коллегами, и что Дания страна дорогая, но, учитывая чистую клевету, которую все понимали, Совенке сделали крупную скидку... О том, что есть такой благотворительный фонд «Жизнь в подарок», который помогает детям и в который охотно вкладываются многие, надеясь подкупить создателя фонда, втереться к нему в доверие — ведь создатель фонда вскоре унаследует АО «Биотех», и все вложения в детей-жмуриков вернутся проходимцам с большими процентами... Как они думают...

— Ну, Филин! — зауважал уголовник Якова. — Твой сынуля, в натуре, какая-то мать Тереза...

— Согласен... — горько усмехнулся босс. — Проблема в том, Роби, что он не должен быть матерью Терезой... Он должен быть Морисом Торезом, как минимум...

— А это кто?

— Роби, теперь уж не важно, я не об этом... Он не готов, Роби, понимаешь? Эти говнюки, которые сегодня улыбочиво вкладываются в операции для детей бедняков, зарабатывают себе очки в его глазах, — завтра разделают его, как слепого в чёрных очках! Он умный парень, мой Як, и он добрый, но он совершенно не готов к жизни...

— Слушай, Филин, — Роби взглядом попросил сигару и, получив кивок босса, залез татуированной лапищей в хумидор, затянулся «Гаваной», пуская к потолку упругие сизые бублики. — Я ценю, без «бэ», твоё доверие... Но если ты рамсуешь, что у меня элитная бизнес-школа, то... Ну, как бы, не хотелось огорчать авторитетного человека, но...

— Не кривляйся! — осёк Совенко-Филин тихо, но так холодно, что Роби поёжился, подобрался и положил сигару в пепельницу из горного хрусталя. — Я, прежде чем сделать что-то, Роби, всегда думаю... И я ведь не затем тебя позвал, чтобы обсуждать... Если я Яку что-то прикажу, он, конечно, делает, но — затаив в душе обиду... Проблема не в том, что он меня не слушается, он почтительный сын, проблема в том, что он жизни не знает. Объяснить жизнь нельзя, Роби, слова тут бессильны, жизнь надо показать. Воочию. Я хочу, чтобы ты принял моего сына в камере, в СИЗО, на шконке, и показал...

— Филин, при всём респекте... Ну чему я, бродяга по жизни, могу научить твоего, блин, наследника?! У тебя полно тепличных хозяйств, воеводств-овощеводств, там хуже, чем на зоне, отправь его туда... Заодно твои биотехнологии снизу позырит... А я-то чё могу?

— Ты недооцениваешь себя, Роби! Я вкуриваю, братан, СИЗО не тюрьма, но я тебя прошу: он должен кушать тюрьму по полной! А ты в этих темках профессор! Он попадает в камеру без всяких привилегий, чуханом, ты меня понял? И без всякого блата он должен выслужить хотя бы «чёрта»...

— Филин, ну чё, я твоего корня буду, что ли, как чухана, мутузить?! Мать Терезу вы...бу?! Это... просто выше моих сил...

— Мы на многое способны, Роби! — утешил блатного Совенко. — Порой и сами не знаем, на что... Утешай себя тем, что дело-то святое: человека спасти! Объясни мальчику, что такое жизнь и кто такие люди... без эвфемизмов...

— Без чего?!

— Забудь! Нужное ты услышал. Всё, вали, у меня много работы, детали и пропуска тебе Мак Суханов доведёт...

— Ну, если нужно... — Робин Бэд встал из посетительского полукресла, виноватым жестом подо-

брал недокуренную сигару. Помялся, думая услышать ещё что-нибудь. Совенко сделал нетерпеливый, выпроваживающий жест.

— Пойду я? — робко спросил Бэд.

— Вали, сказал!

Походкой вразвалочку, не очень убедительно изображая блатную независимость, Бэд пошёл к звукоизолированным дверям, обитым крокодильей кожей.

— И не забудь, Роби! — кликнул ему вдогонку Совенко. Голос предательски дрогнул: он был плохим отцом, богатым отцом — но всё же отцом... — Не забудь: мясо твоё, кости мои...

— Да что ж я, Виталий Терентьевич, без понятий? — осклабилась уголовная горилла обиженно. — Что ж я, не понимаю...

— Ну, и в другую крайность не впадай, — посоветовал Совенко, чуть успокоившись. — Я вас знаю, вы генеральскому сынку можете курорт устроить... Так вот: без потачек! Кости мои, об этом помни! Но мясо — твоё!

Когда Робин Бэд вышел, Совенко, оставшись в глухом и звенящем одиночестве, сжал большим и указательным пальцами переносицу, выжимая, удаляя две непрошенные слезинки. Этого никто и никогда не смеет видеть, и это не плач, не рыдание, это босс просто глаза почистил...

* * *

— ...Ну, и теперь объясни... — вкрадчиво попросил Совенко у Ирины. — Зачем ты, дура, положила мне в чашку левитру¹?

Ирина снова, в который уже раз, вспомнила, как ей говорила кадровичка: «Когда он орёт матом, стучит кулаками и багровеет — есть шанс, что дело выгорит. Но когда он становится с просителем безукоризненно-вежливым, то это самое худшее: значит, уже всё, крест поставил».

Иришка поняла, что это смерть. Нельзя просто так подмешивать химикаты в кофе такому человеку, а потом отделаться «бегунком» при увольнении! Теперь Иришка знала, как зовут её смерть по имени: Максим Суханов, экс-полковник бывшего КГБ СССР. Вначале будет клавиша «М» на аппарате селектора внутреннего коммутатора. На том конце провода слово, сказанное Максиму Суханову, превратится в смерть.

Ну и пусть. Самое странное, что такая пугливая по жизни Иришка-модель теперь, когда всё случилось, почему-то совершенно не боялась. Может, она всё правильно сделала? Может, так и лучше? Для чего ей жить? Чтобы стареть, каждый день у зеркала наблюдая, как увядает её невероятная природная, втопанная в рыночную грязь несчастным несвоевременным цветком красота? Чтобы подавать кофе злему, полубезумному старику, много лет скрещи-

¹ Научно-лабораторное название препарата, на рынке известного под торговой маркой «Виагра».

вашему ежей с ужами, который тебя пощадит только если обматерит, выпустив злобу в паровой клапан мата? А вежливым — страшнее всего?

Вся жизнь пролетела перед глазами — и ни одного приятного воспоминания не оставила погибающей женщине. Ирина, чтобы не мучиться (она боялась боли), чтобы быстрее всё закончилось, — молчала. И встала на колени. Опустила голову, открывая шею, как средневековая преступница под топор палача... Она ведь сразу знала: в задуманной игре можно или выиграть, или умереть.

Она не знала другого: имени своего спасителя. Если её несостоявшуюся смерть звали Максим Суханов, то её жизнь носила погоняло Робин Бэд, и, честно говоря, стыдно, когда твоя жизнь иглой расположена в таком непрезентабельном яйце.

Даже такое чудовище, как Совенко, нуждался в чём-то человеческом, отправляя родного и единственного сына в «пресс-хату». Не за вину, а наоборот: за отсутствие вины, за то, что слишком добрый и правильный вырос мальчик. Сунься Иришка со своей виагрой в другой день — её нашли бы археологи через тысячу лет в сфагновых болотах Подмосковья. Торф сохраняет плоть безукоризненно, некоторым трупам из таких болот — по пять тысяч лет, но при находке оформляются уголовные дела об убийстве, так свежо выглядит убоина... Иришка боялась, что стареет — и там бы она не постарела век... Но теперь, в этот чёрный день, злой старик, давно уже скользивший по девушкам взглядом не цепляясь, — осознал вдруг, что очень хочет женщину. К нему вернулось внезапно нахлынувшее желание объятий, тёплой мягкости, забытья, даруемого инстинктом...

— То, что ты задумала, девочка, делается проще...

Иришка подняла лицо, ещё не смея надеяться. Но уже посмеив глянуть ему прямо в глаза монстра.

Он оттянул, приспустил, а потом снял и отбросил неизбежный в его положении галстук. Расстегнул верхнюю пуговку виссоновой сорочки.

...Из кабинета босса она вышла немного растрёпанной, но внутренне ликующей. Так бывает, когда ты поставишь в казино один к сорока — и покорная судьбе стрелка рулетки возьмёт твою ставку.

Очень вовремя появилась грымза-референтша с какими-то ведомостями, бормоча привычное, обыденное, скучное:

— Ирочка, учёт расходников... Вот здесь и здесь...

— Оставьте на столе, Дарья Петровна! — обожгла её Ирина неожиданной властью. — Я попозже рассмотрю... Когда будет время...

— Что, прости? — оторопелым столбом замерла Дарья Петровна.

«Хочешь сказать, что ты меня на работу брала? — внутренне хохотала фотомодель. — Ну, то когда было... теперь-то я взяла то, чего тебе, старушня, никогда не взять... Привыкай, у нас теперь всё с тобой по-новому...»

Конечно, Ирина ничего не сказала. Но Дарья Петровна работала не первый день, поняла без слов.

Покорно положила отчётность на стол и удалилась, чуть не задом пятясь.

В конце рабочего дня кандидаты с докторами, расходясь по своим «Пежо» и «Хундаям» на автостоянке, наблюдали загадочную картину. Цокающей каблуками Иришке преградили проход к её «Део-матизу» два человека в безукоризненно-тёмных двубортных костюмах. Очень похожие на сотрудников бюро ритуальных услуг.

Сходство усиливало обилие кроваво-бордовых, венозных оттенков роз в их руках. Сотрудники «Биотеха» краем уха могли уловить, хотя и уговаривали себя, что это не их дело:

— Здравствуйте, Ирина Михайловна, я ваш водитель!

— Здравствуйте, Ирина Михайловна, я ваш охранник!

— Очень приятно, мальчики! — оборотительно улыбнулась молодая хищница. — Куда мы поедим? А главное, на чём?

«Део-матиз» стоял скромно, в сторонке, со значком «неприкосновенная парковка». Перед Иринкой услужливо распахнули заднюю дверцу «F1» — чёрного, как вакса, «BMW 7».

— Не желаете ли выпить-закусить?

Вежливость требовала вопросительности в тоне фразы. Но Иришка понимала, что это не вопрос. Себе она уже не принадлежала — потому что и водителем, и охранника выбирала ведь тоже не она.

«Самые сливки достаются их последней любви!» — утешила себя бывшая неудачница.

— Ирина Михайловна, у вас есть любимые эстрадные исполнители?

Она знала, что нужно назвать российских. Заокеанские прилететь не успеют. Назвала одну певичку — не потому, что сильно восхищалась её творчеством, а потому, что с высокой долей вероятности та была сейчас в Москве.

— Лису Полисову... в «Александрию Эсхату»... — пробубнил охранник в какое-то устройство, про которое в иных обстоятельствах Иришка и не подумала бы, что это телефон.

Теперь главная работа — не кофе варить, а угадывать. Это тоже казино, только ставки пониже, чем в тот, первый, раз. Если Лисонька Полис уехала на гастроли, то получится облом. Иришке наплевать, но босс расстроится, что выглядит не совсем всемогущим... А жалкий облом — не то, чем приобретаются мужчины! Не так важно, есть ли у Лисы Полисовой вокал, музыкальные способности и эстрадная харизма, куда важнее — чтобы она отозвалась...

«Если Лисонька там будет... — мечтала Иринка, — он окажется на коне... И захочет снова сесть на такого коня...»

* * *

— Знаешь, чем жертва изнасилования отличается от проститутки? — когда-то давно, ещё на заре реформ, спрашивал Совенко у коллеги-академика. Тот

лечил глаза, выстроил клинику, сказочно разбогател «на окулизме», за что после был убит. При всей бурности своей судьбы тот академик медицины никогда не задавался вопросом, чем отличается жертва изнасилования от проститутки. И округлил глаза в очень искреннем изумлении.

— Жертва сопротивляется, — объяснил Виталий Терентьевич, — отбивается, пытается убежать от тебя. А проститутка сама к тебе бежит, завидев издали... Финансовая тирания не ломает тебя. Не заставляет что-то подписывать, не угрожает, не терроризирует... Она тебя просто не замечает. Тебя не вызывают к «особисту». Тебя просто держат без еды день, два, три... На пятый ты или очоуришься, или сам пойдёшь предлагаться... А они тебя ещё и «пошлют». Скажут — «иди ты нафиг, зачем ты нам нужен?!». А ты будешь бежать за ними и канючить взять тебя в какой-нибудь роли, доказывать, что ты им понадобишься... Твоей свободой станет их согласие тебя изнасиловать. А больше всего ты боишься, что они откажутся... Странно, но классическая диктатура возможна только там, где человека считают нужностью и важностью...

Тогда это ещё было пророчество о будущем. К тому моменту, когда фотомодель Иришка начала подкладывать ему «виагру» в кофе, это уже стало прочно состоявшейся реальностью...

* * *

Он действительно был агорафоб, этот Совенко, и с годами — всё больше. Он любил узкие переходы, винтовые лестницы и камерное пространство. Он предпочитал залам комнаты. Эта комната «Александрии Эсхаты» была вся выполнена в безукоризненно-терракотовых и буланных оттенках, как бы обмотана изнутри податливой и обильной резьбой краснодеревщика, пропитана нежным, но шкафным ароматом лаванды, заставлявшим модницу вспомнить о более грубом аналоге этого запаха, нафталине. Ну, что ж, он такой, какой он есть — ретро-человек, и нафталин ему к носу!

Чудовищно-массивный каменный стол, кованые средневековые вензельные стулья, смягчающие нрав бархатными, золотом шнурованными подушками, льняные дорожки вместо скатерти. Фрукты в плетёной посуде, кружевной батист салфеток и свеча в высоком бокале... Совенко был нервным. Причин Иринка не знала, но видела, как он ломает, втаптывает свою сигару в малахитовый, словно бы прогибающийся под «бычком» камень пепельницы.

Безупречные кельнеры, выныривая сноровистыми манжетами из-за спинок стульев, наполнили бокалы. Лиса Полисова, рыжая востроносая бестия, была «на разогреве». Иришка благодарно подумала, что теперь станет её поклонницей. Даже фанаткой. Не потому, что она хорошая певица, а просто потому, что вовремя оказалась под рукой.

— Я трудно сохуюсь с людьми, Ира... — мрачно предупредил Совенко. — Но расставаться с ними мне ещё труднее...

Она взяла его сухую ладонь и приложила к своей шее. Так, чтобы он чувствовал, как гуляет маленький беззащитный кадычок...

— Видите, Виталий Терентьевич, какая у меня шея? Тонкая?

— Да, — подтвердил он.

— Хрупкая?

— Заметил.

— Высокая?

— Как у лучших парижанок, детка...

— А это значит, что вы всегда сможете её свернуть... Когда захотите... Как... — она хотела сказать «утке», но романтика вечера не располагала, и она подобрала аналог покрасивее, — как лебедушке... Вы, наверное, уже поняли, что я к этому готова... Я не буду вам врать, что люблю вас, вы же прекрасно знаете, что это не так... Но вот то, что я безумно, больше жизни хочу вас — это правда... Вы же биотехнолог, вы знаете...

— Лучше, чем ты думаешь...

— Играть с вами я пробовала, и чуть не погибла за это. Больше играть не буду, я слишком слабый игрок против вас... Все карты вскрыты, и козырей в рукавах у меня нет! У меня и рукавов-то нет. — Она сообразительным, соблазнительным жестом обняла саму себя за обнажённые плечи. — Когда наиграешься, просто выключите свет в моих глазах. Вы же знаете, что, уходя, надо гасить свет?

— Ты, — поправил он.

— Что?

— Ты знаешь... Так теперь тебе надо говорить.

«Ого!» — она хотела только подумать, но передумала закрываться и сказала вслух:

— А вот это уже называется «сорвать джекпот».

Он же, почти без перехода, сказал ей пароль, который открывает почти все двери на этом свете. Пароль узкого круга, пароль, окутанный тайной с советских времён, пароль странный и напоминающий тайные вторые имена древних египтян, тоже веривших в их магическую силу. Дело в том, что у него было другое имя — но, конечно, не для всех:

— Ты можешь теперь звать меня...

— Виталиком? — содрогнулась она от пошлости предположения. У неё в классе был когда-то, в школьные годы, один Виталий, и его звали Виталиком, что очень шло к школьной курточке... Но как это дико и пошло — звать Виталиком человека пенсионного возраста, в костюме парижского кроя, а совсем не школьном!

— Ты можешь звать меня теперь Аликом...

* * *

За спиной Лисы Полисовой музыкальный «чужак» в тёмных очках и леопардовом смокинге умело поправлял эквалайзеры навороченного синтезатора. Эта техника легко ставилась на автомат, если речь шла о вбитой в память знакомой мелодии.

А эту мелодию мюзик-мену заказывали частенько, можно сказать — через раз:

Хрусталь и шампанское — пламя и лёд.
 Кто так не любил, тот меня не поймёт.
 Хрусталь и шампанское — смех и печаль.
 А тот, кто любил, пусть наполнит бокал.

Они пели вдвоём, в режиме караоке: рыжая лиса и уточнённая эскорт-блонда. Ирина, зная, что это особенно заводит мужчин, тискала Полисову в обнимку, а та, привычная к «продюсерам», — не особо и возражала. Академик, видя эти однополюе игры привлекательных женщин, предсказуемо «раздвинулся», как хищник тянет кровь — расширенными ноздрями вдыхал побольше воздуха. Глаза блестящие, ноздри трепетали. Надо отдать девушкам должное: каждая из них умела «работать» с клиентом, а уж вдвоём-то...

По сценарию — раз такая песня — мьюзик-мен поднёс на маленьком подносе фужер шампанского. Виталий Терентьевич жестом ему приказал «упасть» на свободный стул и налить, чего пожелает.

— Вот у вас, эстрадников, у всех какой-то извращённый вкус... — добродушно поделился жизненным опытом Совенко, провожая в нутро музыканта янтарный вискарь. — А я вот лучше водочки, простой, настоящей, нашей... Закусывай!

— Благодарствую... — выдохнул, поперхнувшись, леопардовый аранжировщик.

— Осуждаешь? — спросил его Совенко из-под нахлобученной как шапка брови.

— Что вы? Как я могу...

— Да ладно тебе... Скажи уж честно, что я тебе противен...

— Виталий Терентьевич, — с чувством раскрылся музыкант, — ну, если бы мне были не противны пожилые богатые мужики... я был бы эстрадным певцом, а не на подпевках...

Совенко понимающе подмигнул и чокнулся с ним хрустальным стаканом, где беспокойно плеснулся топазовый коньяк.

— Никогда не мог устоять, — сознался Совенко. — Смолоду не догулял, теперь вот в старости догуливаю...

— Так... и на здоровье, Виталий Терентьевич... — пытался встроиться в диалог клавишник, всюю выгибавшейся в руках Иринки Полисовой.

— Адам без Евы бы не согрешил! — малопонятно сказал ему нейролог Совенко. — Адаму ведь не яблоко было нужно, а Ева! А Еве всё время нужно это яблоко...

4

Этот несчастный лагерный придурок Либа — по-паспортному Любавин Борис Михайлович, недавнего года рождения, был слишком тупым, чтобы понять: сокамерники Виза, Толчёный и Робин Бэд взяли его в «кабаны». В «кабаны» — чтобы сожрать на скачке — отбирают молодых, мясистых, здоро-

венных, как шкафы, распираемых плотью первоходов. Либа был именно таким. Как говорят у эзков — «спасибо матери с отцом», хотя в случае с Либой им бы порицание вынести. Сын получился с головой маленькой, микроцефал, зато баскетбольного роста и сложением, как штангист. В школьные годы Либа сделал две значимых вещи: покинул парту и сделал себе наколку короны между большим и указательным пальцами правой лапы. Потом этот розовощёкий бутуз Геракл торговал «ханью» в мелкую розницу, попался легко, как все мелкорозничные наркотики (чем мельче они — тем их охотнее берут).

Наполненный в окраинных бараках от лампового завода на окраине провинциального умирающего городка блатной романтикой и будучи прирождённым идиотом, Либа как должное принял почтение сокамерников в СИЗО к нему, первоходке. Блатота — вообще очень артистичные люди, им бы во МХАТе играть! Играть роль — им как дышать. Робин Бэд, самый авторитетный в «хате», играл роль чухана. Виза и Толчёный, которые были менее в курсе дела, но немножко в курсе — играли «чертей». Идиот, румяный, как яблоко, пышущий здоровьем качок Либа, к огромному своему удовольствию, после первых же вопросов попал в «авторитеты»...

Робин Бэд твёрдо знал, что ссориться с наследником империи «Биотеха» не стоит: отец отцом, но сын моложе. Виза и Толчёный, бесы татуированные, силенкожие, как папуасы, — твёрдо этого не знали, но смутно догадывались. А вот кто был в девственном неведении — так это новокоронованный Либа.

— Ты самый сильный среди нас, — сказал ему коварный Виза. — Значит, тебе и быть главным...

И демонстративно замахнулся на Робина Бэда, который столь же демонстративно сжался, сморщился, изображая испуганное смирение перед «королями хаты». «Кабана» запустили на пастбище.

«Я ведь знаю, чем это зааргонится¹, — мозговал Робин. — Пахан с Бегалом помирятся, и Бегало попросит у папы голову Бесяна... А папа не откажет... А чухан, страдавший наравне с сыночком, выйдет в дружью терпиле!»

В камере, довольно просторной для стандартов СИЗО (начальство из ГУФСИН перед Филином выслуживалось), Робин разместился первым, чтобы осмотреться и занять бекасово местечко, возле параша. «Отсель грозить мы будем шведу», — сказал начитанный в прошлые отсидки Робин Бэд. В тюрьме ведь и неграмотный со скуки станет книгочеем, если его не опускать!

В это время Виза и Толчёный обрабатывали на пересыльнике «кабанчика». Кабан попался годным — то есть тупым. Он легко поверил в свой «авторитет», потому что с детства мечтал в него поверить. Умелая лесья двух тёртых «чертей» ложилась на

¹ Уголовный сленг: «аргон» — отходняк, «зааргонится» — окончится, завершится.

прекрасно подготовленную и унавоженную отсутствием мозгов почву, так что в «хату» Либа явился уже смотрящим, Виза и Толчёный суетились под ним и с явным удовольствием зарядили затрещину замешкавшемуся у чайного столика чухану Робину. Бэд виновато улыбнулся и ушёл к себе, к параше поближе. За это Либа, упоённый тем, как легко всё в руки на зоне далось, почти полюбил этого пожилого, битого, ломаного мужичка. И подумал удовлетворённо: «Не первая ходка! Правила знает!»

Ему, знакомому с тюремным миром только понаслышке, по фильмам да легендам, всё казалось очень понятным. Он и подумать не мог, а стуканул бы кто — так не поверил бы, что он — мелок, и мелок в учебном классе для Бегалы Пахана. Мелок учитель попользует, а потом сотрёт тряпкой...

Со стороны ГУФСИН за делом присматривал давно уже слившийся с уголовным миром до неразличимости, несмотря на свою болотную форму, капитан Гектаров. Такую странную фамилию дали сироте в детдоме, в честь колхозного строительства, дабы подчеркнуть, что растёт мальчик для связей с нивой и тракторами колхозных гектаров. Но мальчик вырос совсем не в механизатора, и даже наоборот. Зэки ласково звали его Гектором, как героя Трои. Товарищ, а потом господин Гектаров карьеры делать не рвался, слитыми уловками отводил от себя повышения по службе.

— Здесь я на одних сигаретах три зарплаты в месяц делаю! — объяснял он близким людям. — Ададут на погон две полосы — и останутся у меня только ручка да пачка... Бумаги, в смысле... Чего я там, в начальниках, не видал — отчётности?

— Ну, — сомневались близкие, — начальник, наверное, может больше...

— Шаз! — с непередаваемым сарказмом расширил бесцветные вороватые глазки капитан Гектаров. — Может он! А пасут-то его как? А секут, подсиживают его как? Понимаешь, брат, если я в камеру пронесу блок сигарет, то никому это не в загон, потому что всем на меня насрать... А если это сделают две полосы (так он именовал носителей двухполосных погон), на них уже вечером будет докладная лежать у кума в «собке»¹...

Вот так и жил он в этой клетке, и не жужжал, и, как в служебных характеристиках пишут, «пользовался заслуженным авторитетом» у заключённых. Он их с воли «грел», и его воля «грела». Потому что у пачки чая в «комке»² напротив СИЗО одна цена, а в камере — совсем другая. По «понятиям» троянский, как одеколон, Гектор был «авиатором»³, в «блотняры»⁴ переходить побаивался. Да и не нужно этого никому: без этого «публе» спокойнее сидится.

Теперь, вводя в камеру Якова Витальевича Шумлова, матёрая «грелка» Гектор чуял, что дело нечисто. Он чуял в воздухе подставу, обладая тем нюхом, который начисто отбила Либе грубая лезть сокамерников. Гектор за стенами Трои не первый год, ему «колотить по голенищу»⁵ — комоло.

«Ох, не бетушная⁶ это хата...» — думал про себя Гектаров. Но его смотрительское дело маленькое, а кругозор у старого вертухая — сузился до смотрового глазка...

* * *

— Космонавт выведен на орбиту! — доложил капитан Гектаров, несколько «ссыкующий» говорить напрямую с Филином.

— Ну, и как он там?

— Выглядит напуганным...

— Н-да? В Дании-то он был посмелее... — провозицировал Филин. — Европа, культура...

— В Дании с ним адвокаты были... — подкашлянул пронизательный Гектор — заступник тюремной Трои. — И корпоративные охранники...

— За что тебя уважаю, Гектаров, — восхитился придворному такту «авиатора» Совенко, — так это за твою житейскую мудрость!

— Спасибо, рад стараться... — потянулся Гектор в невидимый собеседнику фронт. Не знал, как разговаривать, и немножко нелепо добавил: — Ваше высокопревосходительство...

— Если ему у тебя ломают хотя бы палец... — угрожающе начал Филин. И тут «авиатор» счёл возможным его верноподданнически перебить:

— Ни в коей возможности... — хотел назвать по имени-отчеству, но быстро сообразил, что не тот разговор для паспортных величаний. — Следим и сладим! Но, — тут же наябедничал, зная особенности отцовского сердца, — его там хотят «попугаем»⁷ сделать...

— Но чтобы не «петухом»⁸!

— Ну, что ж мы, без понятий, что ли?! — даже обиделся вертухай. — Ну, не без предела же мы!

— А вот «попугая» попробуйте! — тоном главного советовавшего Совенко, по первому своему образованию — врач и академик медицины. — И «ванны».

— «Ванны» никак невозможно... Ибо у нас теперь биотуалеты, и в них химия, ослепить можем...

— Ну вы, право слово, как дети! Макачь не нужно, поднесите лицом, чтобы понюхал и прочувствовал! Робин с ним?

⁵ Подхалимничать, подмазываться.

⁶ «Бетушное» — что-то вроде «кошерного» или «халяльного», то есть честно соблюдающее воровские традиции, решающее споры по понятиям.

⁷ Попугай, или попуганный — человек, которому в тюрьме угрожали насилием, но не привели угрозу в исполнение.

⁸ Петух — пассивный гомосексуалист в тюремных условиях, «реально опущенный».

¹ Служба собственной безопасности в силовом ведомстве.

² «Комок» — коммерческий магазин, кооперативный ларёк и т.п.

³ «Авиатор» — на фене, контрабандист.

⁴ «Блотняры» — уголовный слэнг, скупщик краденого.

— Не отходит ни на шаг. Чуханом прикинулся...
— Вот хитрая антилопа¹... — нехорошо засмеялся Филин. — Со всеми корешиться мает!

— Ему по-другому нельзя, — заступился за клиента Гектаров. — Он ведь всему в курсе кочаном! Другого в таком разрезе ждать, согласитесь... контрпродуктивно...

— Смотри за ними, Гектаров! — предупредил Совенко. — Они — люди чувства, могут с рамсов спрыгнуть, а на тебя всё чайлово. *Un aristocrate est une école, pas un titre*²...

— Что?! — растерялся Гектор Тройного Одеколлона, столкнувшись с неведомыми оборотами прежде понятной фени босса.

— Ничего! — осёк Филин. — Французский тебе уж поздно учить, брат, действуй в пределах отработанных навыков...

И сбросил звонок.

И думал, невольно и незаметно для себя, соскочив на язык «Магистериума», в детстве так расширившего его в понятиях:

«C'est un garçon intelligent. C'est de la fierté. Mais c'est un garçon faible. C'est dommage. Et si ça casse?»³

И сам же себе отвечал:

«Cela veut dire... C'est le destin... De ne rien faire... Sa Croix n'est pas soulevée autrement...»⁴

Почему-то всякие гадости обдумывать по-французски было легче, чем по-русски. В русский язык вложена философия прямолинейного коллективизма, в которой — корни исторической силы и исторической слабости русских, единственного в мире народа, обозначаемого не существительным, а прилагательным.

Основоположник зоопсихологии Конрад Лоренц, вспоминая, как был оккупантом в Белоруссии, писал, что его очень удивили русские собаки. В каждой стайке русских деревенских детишек обязательно вилось несколько собачек, тогда как любой немецкий пёс улепётывает со всех ног, завидев детскую банду «коренных европейцев»...

Русские безумно сильны и безмерно привлекательны от Гаваны до Ханоя тем, что неспособны свести природу человека к клопу, испытывающему подъём и бодрость духа, только когда насосётся чужой крови. Это выражено во всём: в русской народной, порой такой наивной, вере, в русских обычаях, в русском языке, а точнее, в корнях его словарей. У европейцев «власть» и «сила» обозначаются одним словом, сливаясь неразличимо. У русских — разными словами. «Власть» — это же не просто «мощь», как в немецком «die Macht». «Власть» — это «в ладу»,

приведение к ладу, гармонии, а не подавление, как английское «power»⁵.

— «Править» — значит «исцелять», — учил, точнее, пытался учить сына Совенко. — Потому что «исправить» — не «покалечить».

Чем русские сильны — тем они же и слабы до нищенства духа. Сколько раз эти идиоты получали заточку под ребро, распахнув объятия фальшивой дружбе! То, что в России называют душевностью, человечностью — на Западе называют слабостью, уязвимостью. Как говорили Совенке французы — «Доброта не болезнь, но отсутствие иммунитета». Доброта легко разводиться, лошарить, у него нет иммунитета к подвохам рыночных хищников, ни крупных, ни мелких, он всякое обещание принимает за чистую монету. А ловкому мошеннику — трудно ли обещать золотые горы?

Русские дети дружат с собаками, а европейские терроризируют собак. Даже не потому, что им выгодно мучить собак, а просто потому, что это доступно в укромных уголках. И в этом, наверное, коренная разница менталитетов, разделённых рекой Бугом и разделением Римов, Церквей, социалистического и капиталистического лагерей.

Совенко всегда был практиком. Для него теория — служанка дела, а не наоборот. И, как человек практический, он делал из тяжеловесного опыта страшной жизни вывод:

— Значит, русским надо учиться. Учиться жить по соседству с людоедами из сказок Шарля Перро. Учиться видеть ножевой удар — под покровом ложного братства. Учиться лицемерным улыбкам — и отучиваться от идиотских искренних улыбок. Учиться жить с теми, для кого человек на протяжении многих веков был волком, и только волком. Это противно и тяжело, и можно психологически надорваться — но наплевать, потому что иначе тут всё равно не выживешь. А если тебя лишают жизни — какая разница, сломался ты перед этим или не сломался!

Ещё раз, мысленно прогнал перед глазами те слова, которые выцедил для сына в «крайнюю» встречу:

— Если бы люди, сынок, были такими, какими ты их видишь, мы до сих пор жили бы при КПСС, с её карамельками и пряниками. Но люди — не такие. И потому имеем, что имеем. А других людей у меня для тебя нет! Работай с этими, принимая, какие есть.

— Пап, но зачем тогда жить?

— Затем, чтобы жить! — почти крикнул отец, вы не поверите, но — любящий отец. Очень специфична его любовь, но она, так сказать, «имела место». — Подкупи тех, кто продаётся, напугай тех, кто пугается, убеди тех, кто понимает разумный язык, и, самое неприятное... уничтожь тех, кто ни при каких условиях не признает твоей правды! Это тоже надо, сынок, через «не хочу»: судно в океане, и капитан не только кормит, капитан ещё и на рее вешает...

¹ «Антилопа» — на тюремной фене, человек, который постоянно и во всём ищет свою выгоду.

² «Аристократ» — это школа, а не титул (фр.).

³ «Он умный мальчик. Это гордость. Но он слабый мальчик. Жаль! А если сломается?» (фр.)

⁴ «Значит... Такова судьба... Ничего не сделать... Его крест иначе не поднять» (фр.).

⁵ Власть, мощность, сила, мощь, энергия, способность (англ.).

5

— Я просто сумасшедший... — захохотал со своей шконки у параши заключённый камеры предварительного заключения Яков Витальевич Шумлов. И хохотал он вправду, убедительно-безумно...

— Эй, братан, ты чё?! — лез с сочувствием товарищ по несчастью, такой же чухан на зоне, Робин. — Ты это... Кончай, не пугай... Всё образуется... Ты, как бы там... Не того... — И тормозил Якоря, тревожно прикидывая, что станет с сокамерниками, если сын Филина тут необратимо свихнётся...

А Якову Витальевичу стало так смешно, потому что он отчётливо и беспощадно понял: никакой предыдущей жизни не было! Он, Яша Шумлов, просто чухан, сын Татьяны Шумловой, неизвестно от кого нагулянный, и не менял он фамилии Совенко...

Никогда, на самом-то деле, у него и не было фамилии Совенко, это болезнь придумала считаться сыном олигарха... Он просто где-то в газете прочитал, что есть такой миллиардер «высшей лиги». И, помешавшись, стал считать себя его сыном... Теперь — так это и без врачей ясно! Конечно же не было никакой «виллы урбаны» и Копенгагена... Диплома датского университета потому и нет, что его никогда не было!

Как и огромное множество простых русских парней, Яша Шумлов жил обычной жизнью обычных людей, и она столь ужасна, что он её... забыл! Он её забыл, выбросил из памяти посредством защитной реакции психики и подменил ложными воспоминаниями о «сыне олигарха», московском бомонде, датском высшем свете, всем этим — очевидно же — абсурдом, сотканным из противоречивых журнальных репортажей и мельком просмотренных телесюжетов! Как же раньше Яков Витальевич мог этого не видеть?! Ведь всё, буквально всё в его подложной памяти кричаще-неправдоподобно! Конечно же он простой русский парень, только очень больной на голову... И никогда ничего из воображаемого на самом деле не было, да ведь — сами посудите! — и не могло быть!

Прозрение, исцеление пришло к Якову Шумлову в момент, когда жуткая горилла, по кличке Либа, внушавшая страх и трепет забитым сокамерникам, сбита с пластиковой параши крышку, сняла затем стульчак, и — за волосы — ткнула Яшу носом в омерзительную, смрадную жижу выделений.

— А я даже знаю, как это случилось! — с блуждающей улыбкой сказал Шумлов Либе, когда тот соизволил отпустить чмошника.

— Чего случилось? — нахмурил тот брови питекантропа.

— Понимаешь, — доброжелательно щебетал Шумлов, пытаясь обнять то чухана Робина, то другого ээка, — у меня отчество — Витальевич! А его, в газете-то, зовут Виталий! И я совместил это в голове — как будто я его сын...

— Ты, в натуре, псих! — брезгливо прокомментировал «пахан». И ушёл, пожимая плечами, к столу под зарешённое окно.

Яков Витальевич, не умываясь и не оттираясь, пошёл к себе на шконку и там свернулся калачиком. Всё позади. Эти крики о собственной невинности и неприкосновенности, эти угрозы — «вы не знаете, кто я такой», «вы не представляете, что мой отец с вами сделает»... Да конечно же, ведь очевидно: нет никакого отца! То есть какой-то был, и даже из паспорта следует, что его звали Виталий... Но мало ли... ха-ха... в России... хи-хи... Виталиев?!

— Совенко не имеет ко мне никакого отношения... У меня фамилия Шумлов, никакого даже сходства с фамилией Совенко... Я всё придумал, понимаешь, Робин? Детство, гимназию, Копенгаген... Я, наверное, действительно врач, иначе откуда бы я знал о замещающих механизмах защитной реакции психики?

— Бро, ну ты чё... — чуть не заплакал Робин Бэд. — Ты приди в себя... Ну, дали тебе пару раз по батареем¹, все мы через это прошпирляли... Меня, что ли, думаешь, по первоходу не чмырили?! Ты как-то соберись, чего ты разобранный лежишь?!

— И Лизы не было... — заплакал Яков. — Как я мог бы полюбить Лизу, если я пидор?!

— Ты это... — совсем растерялся и встал в тупик Робин. — В этих стенах такого не лепи! Ты чё, братан, здесь за такое, знаешь, как опускают!

— А Доминик, наверное, был соседом в панельном квартале города типа Мухосранск... Копенгаген, какой Копенгаген?! Ничего не было, из того, что я помню, понимаешь, Роби, ничего никогда не было...

— Лепилу из больнички, что ли, кликануть?! — недоумевал Либа, сам переживая, что в воспитательном усердии первохода перестарался.

— Где, в какой точке диалектического перехода, — вещал, будто радиоприёмник, Яков Шумлов, — болезнь из врага человека становится его сущностью? Когда, на каком моменте ты сростаешься с болью и становишься без неё уже не собой?

— Ты уймись, братан! — заклинал Толчёный.

— Эта боль стала частью меня или даже всем мной. Я совместился с ней и привык с ней жить...

— Готово дело! — сознался Толчёный. — Я уж видал такое... Кишка тонка у фраерка...

Осознав подмену собственной памяти, Шумлов странным образом осознал и никчёмность всех своих знаний, убеждений, идей и выводов. Все гуманистические ценности казались очень важными — пока он сам был важен. Но если он, как выясняется, никто — для чего тогда ему выбор, кому и с какой целью может быть интересно его мнение?!

Разве не существуют все мысли вдовьего сына исключительно внутри его головы, в сущности, касаясь только его одного, и безвылазно?

¹ Бить по батареем — тюремное, означает «бить по рёбрам».

Яков Витальевич превратился в камерный репродуктор. Периодические побои от Либы не помогали. Он завывающе вещал и вешал, удерживая за рукав хлопчатобумажной грубой тюремной робы Робина Бэда, иногда видя в Робине Аарона Енопа, а иногда даже Доминика, и пугая «куратора» разными именами, с которыми вдруг к нему обращался:

— ...Древние люди не понимали, что с ними происходит. Им казалось, что в голове у них завелись мелкие пронырливые паразиты. Что-то вроде мышей. Они то выскакивают — и тогда видны. А то ныряют в свою норку — и пропадают из виду, снуют внутри черепа, мельтешат там, иногда грызут человека изнутри: про такое говорят, что его «госка грызёт»...

— Да заткнись ты, идиот! — потребовал Либа, колотя кулаком в ладонь, морщась и всё ещё считая себя «в хате бугром». — Жить невозможно с твоим словесным поносом...

Но мер Либа в этот раз не принял, сам побаиваясь дел рук своих. Стал, так сказать, толерантнее к «придурку лагерному»:

— Праславянское слово «mūs», — торопливо бормотал тот, опасаясь, что избиение снова прервёт логику изложения, — породило слова «мышь», «мышь» (белка), «муха» и «мысль». Интересный ряд, правда, Робин?

— Да уж куда интереснее... — мрачно посетовал старый «зэк».

— Древние люди считали, что мысли — родня мышам, белкам, мухам... Знаешь, что, например, в Псковской губернии еще в девятнадцатом веке белку называли только так: «мышью»...

— Братан, уймись, не пугай...

— Когда мы говорим знаменитое «растекаться мыслью по древу», то имеем в виду «мышью», белкой растекаться, что, впрочем, для древнего человека одно и то же.

Старославянская форма, — он пытался нацарапать на масляной краске стены этот витиеватый старинный значок мёртвой азбуки, — вообще не отличает «мышь» от «мысль», превращая их в полные омонимы. В толковом словаре Даля мысль — полноправный грызун в человеке. — Яков Витальевич, тыкая перстом перед собой, изображал в воздухе звёздочки и апострофы из словаря, и мало того — видел их. Видел, как видят тёмные пятна и круги поверх трёхмерной реальности контуженые люди... — «Грызть кому голову, бранить, ворчать, брюзжать. Его совесть грызет, мучит или тревожит. Клевета беззуба, а грызмя грызет. Грызет он меня, как ржа железо, мучит. Умер, так не грызет, о брюзге».

Возбуждись, Яков Витальевич вскочил со своих нар у параши, забегал в узком пространстве, возбуждённо ероша волосы:

— Думаете, это случайное совпадение? Если вы переведёте на латыни фразу «крыса разумная», то у вас получится «rat rat-ionalis». «Рациональность» — производное от «крысы». И вы хотите

сказать, что все эти бесчисленные звуковые совпадения, которые просто скучно уже продолжать, — случайны?

Разумность по-датски — rationalitet, — говорил сам себе Яков, уткнувшись лбом в холодную масляную краску камерной стены. — А крыса — rotte. А рулевое колесо на датском корабле — rat...

Видя недоумённые взгляды, а точнее, наконец-то обратив на них внимание, он виновато улыбался:

— Ну, это я выдумал, что в Дании жил... Представляете?! Я с какого-то перепугу решил, что жил в Дании... Доминик, — он пытался поймать руку Робина, — я выдумал, что ты датчанин! Ты меня понимаешь, Эрон? Ты еврей, а они умные, ты должен понимать такое...

— Из погоняла мыслякам у древних, — подыграл Робин Бэд, — видать, что от мыслей мечтали, б..., избавиться, а не подманить! Может, и правильно делали, хули, они на натуральных продуктах росли...

— Древние люди не понимали мыслей и боялись их, — ликовал Шумлов. — И к тому же презирали, как грызунов-вредителей...

Он и сам теперь презирал все свои мысли, которые, как теперь выясняется, имеют ценность только в голове наследника многомиллиардного состояния. Каким он выдумал себя считать в какой-то роковой момент, свихнувшись. Обычный человек со средним достатком и средним положением, каким он и был, — выжигает голову мыслями вхолостую, как двигатель жжёт бензин на холостом ходу. Мысли не переходят в решения. Ты думал, думал, думал — а ведь никому это не интересно. Тебя взяли просто так, ни за что, и заперли в тюремную камеру. А потом, просто так, ни за что — макнули лицом в фекалии. И когда тебя зарежут, просто так, ни за что — миру будет столь же безразлична твоя смерть, потому что ему безразлична твоя жизнь. Мысли — всего лишь мелкие паразиты, разъедающие мякоть внутри головной кости. Любители жрать костный мозг. Ты можешь думать что угодно или не думать совсем ничего: итогом процесса всё равно является ноль. А ключ от ноля ты потерял. Если вообще когда-нибудь имел, если всё это не известковые отложения ложной, выдуманной на замещение печальной «лайф-стори» памяти...

Ты в этой камере навсегда. Если бы ты был тем, кем себя воображал, — тебя бы давно вытащили отсюда. А раз не вытаскивают — то всю свою жизнь ты банально сочинил...

* * *

— Хай, сестрёнка! — прокричала в далёкую Москву Лера Очеплова посредством спутникового масивного телефона, непривычного в руке, избалованной миниатюрными мобильниками. — Как ты там?! Пригласила бы тебя к себе, но пока не рискну, Елка! Тут кругом, маза фака, такая нестабильность... Если всё же рискнёшь навесить, то прихвати ящик водки

и самого ядрёного хрена! Тут без них ничего нельзя! Что я делаю? Ну, прямо сейчас сижу на веранде лоджа, конфискованного семейством Мбав у колонизаторов, кушаю футу... Да не туфту, а футу! Это печёное на углях змеиное мясо, толчёные плантаны и толченый ямс! Ну, естественно, мажу хреном и заливаю русской водкой, а то давно бы уже скорчилась до поносных судорог...

Лодж, которую «народная власть» отвела семейству Мбав, был живописно, хоть и непривычно своей распаханностью до голубого призрачного горизонта окружён саванновыми редколесьями и злаковниками. Он строился французами, возведшими на свой вкус посреди маисовых террас и зарослей маниоки белоснежную виллу в арабском стиле, с лепными медальонами, и прекрасные виды открывались тут с господствующего над местностью холма. Имелись крытые веранды и панорамные окна, выложенный плиткой проход к мраморному бассейну-чаше и гольф-полю.

Внутри лоджа — мебель из древесины венге и палисандра, поливные пальмы вдоль застеклённых веранд, на стенах — шкуры зебры и жирафа, сумасшедшая графика африканских орнаментов, деревянные блюда, вазы, бронзовые скульптуры, ритуальные маски — не дававшие забыть Лере, что она гостит в Африке. Значительная часть обстановки, как в музее, — ковровая или плетёная.

Лера ходила по шерстяным коврам ручной работы, между которыми простирался плетёный или вязаный, очень яркой расцветки ремесленный текстиль. Повсюду внутри комнат господствовали террактовые и песчаные краски, и только углы с бордюрами на африканский манер тут были покрашены чёрным. Лаковые чучела, пугающие, особенно в темноте, — питонов, крокодилов и ящериц...

Чернокожие солдаты революционной гвардии, по периметру охранявшие с автоматами и ручным пулемётом, бельгийским «ФН МАГ», лодж от «благодарного населения», с недоумением смотрели на гостью, которая разгуливала по верандам в пляжной тунике из прозрачной ткани, прикрывавшей, но не скрывавшей чересчур откровенного купальника-бикини. Короткая газовая туника очень шла стройной длинноногой брюнетке.

Лера хотела рассказать младшей сестрёнке ещё что-то забавное и экзотическое, ничуть не смущаясь, что трещит одна, с её-то эгоцентризмом она такого почти никогда не замечала. Ей и в голову не приходило, что Елка звонит зачем-то, кроме как её, любимой, делишки разузнать!

Но Лиза, сперва плакавшая, хныкавшая в трубку, теперь уж вовсе разрыдалась.

— Э-э, девочка моя, ты чего это слякоть развела?! — взволновалась наконец самовлюблённая стерва.

— Лера, ты понимаешь... Яков пропал... Исчез, и все делают вид, что его никогда не было...

— Что ты несёшь?! Как такое может быть?!

— Яков пропал, и я не знаю, где он!

— Его отец должен знать!

— Он говорит, что понятия не имеет...

— Этого не может быть! Чтобы дядя Алике не знал... А мать чего говорит?

— Её мать вместе со мной... Мы вместе пытаемся искать, обзвонили все больницы, все морги... Нигде ничего... А сейчас ей вкололи афобазола, валосердина, корвалола — и она как в транс...

— С ума сошла! Нельзя так много колоть — она может уснуть и не проснуться!

— Это не я! Это она сама, колот Вениамин, он человек подневольный... Я нам с ней только сделала отвар трав, валерьянки и пустырника...

— Ещё и ты добавила, врач-убийца! — чуть не хихикнула Лера, но поняла, что сейчас глумиться над сестричкой-рохлей в обычной манере было бы «неэтично». Так говорили в универе, Лера плохо понимала смысл слова, но само словцо ей понравилось: «феерично-неэтично»... — Я думаю, — сразу же просекла фишку Валерия, потому что подобное не только стремится к подобному, но и хорошо его понимает, — это отец его куда-то направил. В Москве пропасть так, чтобы Филин не нашёл, — не бывает. Папа с ним что-то сделал...

— Мы с тётей Таней этого и боимся... — созналась Елизавета Очеплова, и снова заплакала.

— Не реви! — строго одёрнула Лера. — Я разумею!

— Как ты можешь, сидя в Африке...

— Я тут не сижу. Я тут на свободе.

— Мы в Москве все связи напрягли, а она...

— Да потому что в вашем курятнике я подкидываю из соколиного яичка! — гордо отрезала Валерия.

— Ну, спасибо, сеструха, поддержала... — хныкала на другом конце провода безутешная младшая.

Как говорила мама в минуту откровения — «две девки у меня, старшая золотая, младшая сахарная»...

— Заткнись, дура, и пей свой пустырник! Я перезвоню, как найду!

Первым делом Лера позвонила своей матери. Странно, но Лизка о таком простом звонке в Питер не догадалась, и Алина Игоревна узнала всё только от старшей. А узнав, «ознакомившись с деталями», как говорят в их комсомольских кругах, выдала странную фразу:

— Не видать ничьих следов вокруг того пустого места...

Лиза, как пить дать, такого афоризма бы не поняла. Курица — она и есть курица. Валерия Дмитриевна поймала слово за хвост с пятого звука, как в телепередаче «Угадай мелодию».

Детство. Шенилловый диван. Папа с книжкой Александра Сергеевича Пушкина, папа, всегда игравший в семье роль мамы — потому что железная мама увлечена мужскими играми:

...Есть высокая гора,

В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста...

— Думаешь, Яков мёртв?! — дрогнул голос Леры.
— Типун тебе на язык! — ругнула её мать. — Говорю тебе, он не просто в гробу, а в хрустальном, колдовском! А коли не так, то были бы пышные похороны, и нас бы всех позвали...

— Где он может быть?

— Сама-то как думаешь? Ты теперь к «дяде Алику», — мать ревниво передразнила язвительными нотками в голосе манеру дочери называть Совенко «дядей», — ближе моего...

— Скинешь мне телефон генерала Драгумова? — попросила понятливая дочка.

Речь шла о полицейском генерале, выслужившемся до высших чинов благодаря питерскому филиалу АО «Биотех» и потому тесно связанном с питерскими «совенковцами».

— Чем тебе поможет Драгумов?! — было ощути-мо, хоть по телефону и не видно, как мать пожала плечами. — Он всю жизнь наркоманами занимался... То ли боролся с оборотом наркотиков, то ли организовывал, мать его...

— Одно другому не мешает, мама! Если речь идёт о наркоте... Но мне сейчас пофигу, чем он там беспросветные погоны выслужил, он всё-таки генерал полиции, в лампасах и в каракуле... Если он позвонит в ГУФСИН — думаю, ему не откажут в справке!

— Ну, раз так, то дерзай, доча! Скидываю его номер текстовым набором!

Генерал Драгумов не сразу узнал голос дочери своей покровительницы, но, узнав, пообещал «выяснить по своим каналам». Всех карт ему Лера не раскрыла, просто сообщила о пропаже человека и о своей тревоге — не в тюрьму ли прибрали?

— Бывают случаи, когда последственного полностью изолирую! — согласился генерал. — Если это нужно в интересах следствия, то никто не знает, где он, и сам он не знает...

— Но вам же они скажут, дядя Юра!

— Мне — скажут! — гордо отчеканил Юрий Олегович Драгумов, и Лера прямо-таки увидела, как пафосно он поправляет на кителе мышинного цвета коллодку ведомственных наград...

— Я буду вам очень благодарна!

— Я перезвоню... На этот номер? Он какой-то странный...

— Это спутниковая связь, дядя Юра! Я сейчас в Средней Африке.

— Ого! Смотрю, руки у тебя длинные, Лерка, вся в маму!

— Стараемся, Юрий Олегович! Так я жду!

— Дай мне два часа на всё про всё. Ты же понимаешь, это не корпорация, а бюрократическая машина, тут всё долго, даже если пнуть как следует...

* * *

Фокки Фреш спал по-африканьски, по-деревенски, под тростниковым навесом, на вольном воздухе, ночью хоть немного свежившем в этом духовом шкафу, который всякого колонизатора превращает в печёного гуся.

Ему привычно снились мертвецы боевого братства, но не пугая и не стыдя, а дружески, прихлёбывая крепкое пойло, болтая о пустяках. Каждый из ребят Фокки давал и помнил клятву, похожую на брачную: «...пока смерть не разлучит нас». Каждый из этих суровых парней знал две вещи: нельзя предавать живых и нельзя предать мёртвых. И потому никто из них не пенял Фокки Фрешу, что тот пошёл служить их убийцам. Были бы живы — сами бы пошли. Их убийца — их собственная профессия, а не кто-то конкретный...

Единственный, кто в экваториальных снах на сладко пахших вязанках багассы сахарного тростника в джутовых наволочках докучал Фрешу, бывшему Эрасмусу, — Бобби Гуллис-четвёртый. Выстрел русской девки разнёс Роберту всё его хорошенькое личико, и теперь вместо лица у Гулливера был один большой, красный и мясистый, рот. Это было очень неприятно и неэстетично, разговаривать с человеком, у которого вся голова сведена к пасти, без глаз и органов дыхания, хотя...

«Чёрт возьми, это какая-то аллегория на янки, — думал Фреш, — одни сплошные челюсти вместо головы!»

Из-за мерзавца Гулли вся приятная обстановка сна Фреша как-то растворялась, грязно стекала, будто на краски плеснули ацетоном. Фреш пробавлялся воображаемой выпивкой с компанейскими мертвецами Мюллером и Сизотой в тики-баре, где обнажённые мулатки, аналог гурий мусульманского рая, подавали коктейли на основепряного экваториального рома: Голубые Гавайи, Клык Кобры, Кофейный грог, Оживитель трупов, Удар плантатора, Суматра Кула, ну и конечно же короля коктейлей тропической полосы: Зомби.

Фокки Фреш хоть не хотел себе сознаваться — но старел. А старея — становился внимателен к мелочам. Его дотошность лепила из податливой пластики сонного материала многочисленные уродливые африканские маски и резные фигурки, обкладывала воображаемый бар, «как положено», травяным полотном и тканями тапа. В этом пиратском самодельном раю, отцеженном из мыслей, полыхали факелы, шуршали пальмовые листья, гости сидели на шершавой пемзе лавовых камней.

Его мёртвые друзья, которым нравилось в его воображаемом мире, поднимались к нему по раскочивавшемуся бамбуковому мосту, пользовались палочками для выпечки, использовали обложки для спи-

чечных коробок и салфетки для коктейлей, чего никогда не делали при жизни.

— Well thought out, Fokky! — говорило боевое братство, кто на ломаном, а кто и на природном английском. — You know how to live!¹

Услышав такое от немецкого брюзги Мюллера, при жизни вечно всем недовольного, Фреш чувствовал заслуженную гордость за свою фантазию. А когда приходил в сон Бобби Гуллис-четвёртый, всё это смывало в унитаз, и Фреш уже не очень «know how to live»...

Мир подпространства, бывшего эдемского сада, творили методами окисления многие поколения многих людей. Сумрачное сознание человечества, изувечив Божий замысел, оставило тут только рассеянный свет, мёртвый и призрачный, вторичные грибы-некрофаги сожрали всю райскую растительность, некогда прекрасную, и теперь жрали друг друга. Здесь Фокки терял друзей-покойников и оставался вдвоём только со своим верным неразлучным тесаком-мачете, которым и прорубал дорогу в склизких тянучках грибковых лиан, двигаясь из ниоткуда в никуда...

«Вот тебе трёхмерность, — сказал некогда Бог человеку. — Я даю её тебе пустой, чтобы ты сам, на свой вкус, смог её обустроить, и, если будешь хорошо думать, она станет твоим раем».

Человек думал плохо. Трёхмерное пространство стало адом. И по этому аду, удивляясь фантазии своих снов (ведь он думал, что это его личная фантазия!), шагал теперь в белых колониальных шортах, подвёрнутых до колен, Фокки Фреш.

Вместе с ротоглавым Бобби сюда приползали из невообразимых трясин бронированные брёвна флоридских аллигаторов. Все они чего-то хотели от старины Фокки, но объяснить толком не умели. Бобби после «того» выстрела говорить разучился, а кайманы астрала — изначально не умели.

Невелика радость — из ночи в ночь убежать от флоридских коротколапых чудовищ, даже если невелик труд от них убежать: в тики-баре ждали собутельники и грелся тёмный маслянистый коричневый ром с коричным привкусом... И вот, вместо непринуждённых бесед — скитания по миру гигантских плесневых отростков и ползучих гадов!

«Чего вам надо, сволочи?! — орал в отчаянии Фреш в этих мягких, студенистых ландшафтах, где никогда не случается эха. — What the hell are you doing with me?! Послушай, Бобби, приятель, я тебе ничего не должен, твой задаток я отработал, и ты мне даже недоплатил... Я не в претензии, памятуя, что с тобой вышло, но... Почему ты считаешь, что я твой должник, мать твою?!»

Гуллис открывал большой и беззубый красный зев, образовавшийся у него на месте головы, пытался укутить, безвредно, но обидно, как кусает старая клыча с голыми дёснами...

Фокки просыпался в поту, плохо выспавшийся, ругал духоту ночи и неумолимость возраста, ругал перенесённую когда-то жёлтую лихорадку, присадки местной мутной воды... И всё же краем сознания понимая — в странных снах есть нечто, говоря научным языком, «объективное», постороннее, внешнее, если и придуманное — то не им, не Феннером Эрасмусом, взявшим себе некогда творческий псевдоним Фокки Фреш...

6

— Слушай, Огги-Фрогги, если тебе эта гадость дорога как память... — нервно говорила Лера Очеплова, — то можешь её не выбрасывать! Но убери куда-нибудь подальше, чтобы я её не видела!

— Никак нельзя, моя бвана, убрать её, чтобы ты не видела! — терпеливо объяснял Огюст Мбава. — Очень нужно, чтобы она была рядом с тобой. Это твой оберег. Мы в Африке, девочка. Лунная Долина Большой Охоты тут ближе, чем в заснеженных степях твоей страны...

— Ничего она не ближе, и никакая это не долина, а Подпространство, — капризничала Валерия Дмитриевна. — И там меня оберегает астральная волчица. — Она продемонстрировала кусочек белой волчьей шкуры, казавшийся брелоком на связке ключей. — Зачем мне там твоя мерзость?!

Шаманы Средней Африки, как и все на земле шаманы, нажравшись где мухоморов, а где таинственной хомы-саомы, росшей в Сахаре, пока Сахара была саваннами, — издревле проникали через трещины стабильности пространственно-временного континуума в Подпространство. Именно в те «долины» — которые Фокки Фрешу казались ущельями и где за ним гонялись устрашающие подобию крокодилов, заставляя себе доказывать: «No, no! I don't have a binge! I didn't drink at all!²...»

Фреш в своей наивной непосредственности фермерской деревенщины подозревал, что это «белая горячка».

Ну а что ещё, по-вашему, решит нормальный, без «вышнего» образования человек, когда его во сне преследуют флоридские аллигаторы?

Племенная верхушка Африки знала, как может мир мёртвых, без привычных времен и протяжённости, влиять на мир живых и даже вторгаться в него. Стремясь защитить Леру Очеплову, Огюст Мбава поставил в её спальнях покоях мёртвое осиное гнездо под стеклянным колпаком.

Гнездо казалось Валерии Дмитриевне комком размокшей, сгнившей, а потом высушенной туалетной бумаги. Огюст терпеливо объяснял вздорной подруге, что это не «пробка, забившая канализацию», а дом астральных ос, служащих своему владельцу в Лунных Долинах.

¹ «Хорошо придумано, Фокки! Умешь жить!» (англ.)

² «Нет, нет! У меня нет никакого запоя! Я вообще не пил!» (англ.)

Злые и крупные африканские осы-убийцы давно уже умерли и превратились в мумии внутри неопрятно-серого кома своего бывшего дома. Но если человек, спящий рядом с ними, шёл в Подпространство, их души, а точнее, астральные проекции, неприятным роем вились вокруг него, подобно охотничьей своре собак. А Лера не то чтобы любила ходить в Подпространство — но ей нужно стало. Так-то чего там делать? Когда-то мама сводила их с сестрой на экскурсию в заброшенное ленинградское бомбоубежище, где с потолка свисают гирлянды пыли, сыро, сумрачно и много всяких сломанных вещей. Заброшенное бомбоубежище было подземной помойкой. С точки зрения Леры именно оно было «максимум похоже» на Лунные Долины Подпространства.

Но если уж помогать сестрёнке в поисках её малохального Яши, то надо преодолеть естественную брезгливость холёной светской львицы и спуститься в грязный подвал Вселенной. Ведь там пространство динамично: то, о чём думаешь, вспоминаешь — к тебе приближается, забытое отдаляется... И всё это гуляет в дискретном времени, тоже потерявшем линейную последовательность. Это и погубило Эдем с его божественной роскошью и красотой: воображаемость времени и пространства, хаотично передвигающая эпохи и предметы, тела и события...

Лера полагала, что в подвале Вселенной ей вполне хватит гламурно-белой волчицы, но Огюст настаивал на «местных телохранителях» — жалящем всякую угрозу рое призраков...

* * *

Открытие о совершеннейшей и изощрённейшей простоте незначимости себя пришло к Якову Витальевичу слишком поздно. Он вырос и возмужал в искреннем убеждении, почерпнутом у книжных персонажей, о важности своего внутреннего решения, борьбы начал в душе, полагая, что сделанный человеком выбор бывает спасительным или роковым.

Оттого так мучительны были его идеи, терзавшие носителя требованиями доказательств, и так много сил растратил он во внутреннем споре с самим собой. Книжный человек вырастает Гамлетом, он видит себя на сцене, как будто бы на нем сошлись все прожектора, и каждый его жест ловят тысячи зрителей, осмысляя его мелодраматичные кривляния. И нужно поистине страшное потрясение, каким для многих стали 90-е годы, чтобы книжный человек с убийственной самоотрицающей ясностью понял: нет ни сцены, ни юпитеров с софитами, ни, самое главное, сочувствующих и вдумчивых зрителей, увлечённых твоими паясничаниями, гримасками, «криками души», заломленными руками и богатым внутренним содержанием сотканного тобой образа.

Вообще ничего нет — и ты никому не нужен. Ты и сыном олигарха себя вообразил в помутнении рас судка, потому что очень хотел быть востребованным

общественным вниманием, для которого простой человек едва ли больше пятнышка на обоях за шкафом.

Ты ведь со школьной скамьи рассчитывал, что тебя начнут разбирать по всем правилам литературного анализа, как Льва Толстого или его героев. Но таких, как ты, ишаков — миллиарды, кому это нужно, да и просто по силам — разбирать тебя и «души твоей порывы», причины и глубину твоего личного выбора, слагаемые твоего личного мнения?! Ты умрёшь — никто и не вспомнит, потому что и при жизни твоей о тебе никто не помнил. Как и миллиарды простых людей, со всеми их чувствами и внутренним миром, ты — пустое место, и когда тебе кажется, что смотрят на тебя, — смотрят-то на самом деле сквозь тебя... Жесточайшая из всех правд на земле в том, что не имеет равным счётом никакого значения всё то, с чем ты носился как с писаной торбой. Ни твой выбор, ни твои убеждения, ни твои идеи, которыми полна коробушка и которыми ты мнишь щедро поделиться... с кем? С тем унылым, болотных оттенков мундира и лица, вертухаем, который принял тебя как кусок мяса, раздел догола, брезгливо раздвинул ягодицы и брезгливо проверил рукой ветеринара в резиновой перчатке — не протаскиваешь ли ты в заднице чего-нибудь запрещённого?! Тебя деловито везут на бойню, и твоё реальное значение измеряется килограммами убоины в тебе, а ты радостно мычишь, думая про себя, что проповедуешь и просвещаешь...

Яков Витальевич вырос в такой обстановке, что мог принять любую идею, кроме идеи ненужности и незначимости самого себя. Таким, как он, гораздо легче выдумать о себе «миф великого грешника», подобно тем князьям, что шли метать эсеровские бомбы, а до того — на плаху за двоеперстие... Увидеть в себе исчадие ада, нырнуть в то смирение, что «паче гордости», потому что является гордыней наизнанку. Помыть ноги последнему слуге — упиваясь, что все зрители в партере сейчас, затаив дыхание, смотрят на твой согнувшийся хребет, а разъезжаясь из театра, будут обсуждать величие твоего унижения...

Но как можно человеку, сызмальства росшему в остротах, подобных луковой рези в глазах, зримых приметах собственной исключительности — принять идею о себе-ничто? О себе, как о жизни, исчерпывающейся в глазах мясника живым весом, омрачённым костями — «без них было бы лучше», как думает мясник, прикидывая тушу перед разделкой...

Ты можешь быть хорошим — но это ничего. Ты можешь быть плохим — и это тоже ничего. Реке жизни безразлично, жёлтый или зелёный листок она тянет на спине вод. Каким бы ты ни был и что бы ты для себя ни выбирал — ты одинаковое ничто. Сгусток плоти, дрожащий в голом виде перед «шмоналой», грубо раздевшим тебя даже не с какой-то эротической целью, а с мясницкой ветеринарной основательностью...

Есть ничего. А есть ключ от ничего. И больше ничего нет. Ключ от ничего ты потерял. Точнее сказать — думаешь, что потерял, потому что ты псих с подменной памяти, патологией защитной реакции на ничтожество подлинной биографии, несогласие с ней. Ты не терял ключа от ничего, потому что у тебя, на самом-то деле, его никогда и не было.

Ключ от ничего есть только у академика Совенко, про которого несчастный психбольной выдумал считать, что это «отец». Но причина психического расстройства врачу Шумлову ясна: полное отсутствие свободы воли у существа внизу, обречённость приспособляться к обстоятельствам, единственная замена чему — попросту погибнуть от них, убитых об их каменную спокойную и равнодушную неотвратимость.

Академик Совенко — тот, кто отпирает ноль в положительные и отрицательные величины. И несчастный сумасшедший, ныне умирающий на шконке в СИЗО, выдумал, будто он сын этому ключнику Вселенной...

* * *

В бреде, в том, что смешало логичную явь, алогичный сон и бредовые галлюцинации, выступающие как бы третьим «агрегатным состоянием» психической невещественности, Яков Шумлов увидел в странном мире гигантских грибов прекрасную спутницу белой волчицы.

Теперь, исцелённый уголовником Либой и его шокотерапией, зеркальным отражением «гайдарономики» в психиатрии, Яков Витальевич прекрасно понимал, что к чему. Когда он был болен, он думал, что эта прекрасная девушка — Валерия Очеплова, его знакомая, старшая сестра его выдуманной любви. Но теперь всё встало на свои места: выдумка встречала его в выдуманном месте, в царстве сновидений, придерживая белую волчицу за вздыбленную холку. Мара, Морена, Марья Моревна, классический образ мифологии, русской народной сказки — которую большое сознание Якова по клиническому шаблону вывело в личные воспоминания!

— Теперь я знаю, что ты придумана мной! — расплывчато, как на акварельном рисунке, улыбался Яков — блуждающий в мире, где всё и было акварельным экспромтом. — Видишь, Мара, Морена, я поправился! Я теперь знаю, что никакой я не Совенко, а просто обычный, заурядный Шумлов...

— Держись, Як, ты сильный! — потребовал мифологический паттерн. — Мы тебя вытащим! Зуб даю — со дна моря достанем...

— Да меня и так уже всё «достало»! — хохотал Яков. — Потому что я Ничто! Если ты ничто, то тогда не-ты есть всё! И ест всё!

— Якорёк, мне не нравятся эти базары! — нахмурилась Марья Моревна, про которую он в острой фазе расстройства думал, что она Валерия Очеплова. — Постарайся держаться, мы уже идём к тебе!

Но в Подпространстве не за что держаться. Этот мир освобождённой от панциря плоти нервной энергии — очень скользкий, туманный и полон невообразимых созданий. Неких прозрачных, студенистых, нарушающих все законы сопромата, полных пульсирующей слизи. Непроницаемых и одновременно прозрачных глаз на тончайших стебельках, склоняющихся головками как причудливые цветы.

Здесь отсутствует перспектива трёхмерности, сюда заходишь, будто в личный аккаунт соцсетей... И вдруг близким оказывается человек, беседующий с тобой из Владивостока, но совершенно невидим и неощутим сосед за глухой стеной...

Вся форма Подпространства напоминает ветвящуюся ажурную плесень под микроскопом, потому что это — окислившиеся мечты, продукт разложения и распада налагающегося слой за слоем мыслетворчества. Грибковые формы жизни растут на смерти, они — форма жизни, избранная смертью. Когда чья-то мечта умирает — в Подпространстве появляется ещё один букет плесневых икебан...

Если мы глядим на трещину в металле под микроскопом, то видим американский «гранд-каньон», один в один. Если глядим под микроскопом на ржавчину, то видим трёхмерный морозный иней на окнах. Есть безусловная универсальность в симметриях, сферичности, не связанная ни с размером, ни со сроком. Эти безусловные универсальные кристаллизации, пульсации, округления и сформировали причудливую, сонную флору Подпространства...

— Если этот мир похож на поисковик Интернета, — сказал Яков Витальевич, — то я набираю Авиньон, весна 1328 года...

— Як, не делай этого! — попросила-потребовала, даже ногой топнув от врождённой капризности, Мара-Валерия. — Всякий, кто гуляет в лесу без хлебных крошек, — рискует заблудиться... И назад уже не выйти! Дурдома переполнены теми, кто загулялся в Подпространстве...

— Разумеется! — захохотал Яков. — Хлебные крошки! Я же в архетипе мифа! Потом смогу диссертацию написать — основные слагающие народных сказаний...

* * *

Человек, скончавшийся в XIV веке от Рождества Христова, всё ещё сидел в папском замке Авиньона, разрушенном двумя веками позже. Странные трубы, фистулы, червоточины, ходы, имеющиеся только у Разума, позволяют гулять в любом направлении времени.

Философ и логик, ожидающий папского суда, монах с уже зарастающей кельтским рыжим волосом тонзурой на макушке, в рясе грубой шерсти не увидит, а ощутил чужое присутствие. Он теперь мог видеть чужими глазами из чужого тела. Но и наоборот: кто-то совсем чужой теперь смотрел его глазами и говорил в его голове. Средневековые люди часто

слышали «голоса» извне и лучше нашего понимали их происхождение.

— Tu quis es? Ne indūcas in tentatiōnem!¹ — спросил на латыни испуганный философ.

— Natuscir culumante et posttest², — ответил на латыни врач. — «Рождённый из Круга до и после тебя».

Чудо, но у них был общий язык!

Оба они сидели в тюрьмах. И оба, сидя на шконках, разговаривали каждый сам с собой, но — через Подпространство — друг с другом. Так электронная переписка проявляется одновременно на двух удалённых мониторах...

— Я пришёл к отцу всяческого капитализма! — сознался Яков Витальевич Шумлов.

— Что такое «капитализм»? — поинтересовался монах с зарастающей без бритвы тонзурой.

— Конечно, ты этого ещё не знаешь! Ты и понятия не имеешь, что здесь, в глухой мгле четырнадцатого века, ты расщепил дорогу человечества, и отсюда, от твоих идей как первопричины, она пойдёт двумя разными потоками, через много веков породит два разных мира, один из которых увенчает пять тысяч лет цивилизации, а другой отменит эти тысячелетия ради первобытного звериного естества...

— Ты с ума сошёл, гость в голове! — улыбнулся величайший из логиков и отец европейской рациональной науки. — Я ничего не могу изменить в истории, потому что я сижу в заключении и вскоре буду казнён, по доносу моего бывшего ректора! У меня нет ничего для письма, в кармане нет ни одного цехина³, да и карманов, как видишь, тоже нет. Я отлучён от письменных приборов, от лекций или проповедей, перед тобой лишь тень мертвеца, странный гость...

— Свершающееся в духе порой выглядит совершенно ничтожным для материального мира, особенно современникам свершений! — возразил Шумлов. — Однако затмевающие их воображение своей грандиозностью события оказываются на древе истории пустоцветами или грибами-паразитами. А нечто микроскопическое, которое не видят даже домочадцы, которое и самому-то творцу кажется игрой или расстройством, даёт обильные плоды, и последствия его умножаются, как песок морской. Здесь, Вильям, замерзая возле пылающего камина, потому что в твоей комнате слишком много щелей и сквозняков, заработав себе от камней папского гостеприимства ревматизм до конца дней, — ты породил в уме всю мировую систему капитализма, о чём, конечно, сейчас не догадываешься... И никто сейчас даже предположить не может, как далеко пойдёт твоё наследие, величайший из земных логиков, доктор Неопровержимость, как будут звать тебя ученики... Ты — отец всех форм капитализма, подоб-

но тому, как есть неведомый истории первый из людей, кто развёл огонь, и первый, кто придумал колесо, и первый, кто вылепил глиняный горшок... Ты, Вильям, слепил из собственной глины будущее всей европейской науки... Она слепила Европу, а Европа слепила планету...

— Я?! — отшатнулся Вильям.

— Именно ты. Ты сплёл из железных нитей своей логики стальной трос, который удержал за ногу человечество, рванувшееся было в Космос, растить яблони на Марсе... И в этом нет никакой твоей вины — как нет вины или воли Понтия Пилата в том, для чего он предначертанно родился. Надобно сообразно прийти в мир...

— ...но горе тому, через кого они приходят... — продолжил цитату Вильям.

— У тебя нет выбора, Вильям. Ты просто сформулируешь отвлечённые, безмерно далёкие от быта истины так, как ты их видишь. Ты задашь тот микроскопический, невидимый обывательскому глазу крен в познании мира, который, нарастая от этажа к этажу цивилизации, в итоге превратит её в «падающую башню».

— Не может быть... — отмахнулся Вильям.

Его писания были полны смирения. Он не пожалел драгоценных в его годы письменных расходников, чтобы сообщить о чистоте своих намерений, о том, что это — лишь лишь неизбежности в его раздумьях, и предложил всякому, кто имеет опровержение его выводов, — возразить. Он работал для Истины — и не мог отречься от той Истины, которая предстала перед ним однажды, целиком покорив и подмяв его собой. И укоризненный голос далёкого потомка из XXI века казался ему, узнику совести в Авиньонском замке, лишь искушением беса, подосланного нечестивым и распутным «олухом», как Вильям, в «грубианском» стиле своего века, называл Папу Римского...

7

На самой заре XIV века, в точно не установленный год, в семье, о которой ничего не известно историкам, стало быть, бедной и незнатной, ибо знатность рода в Средневековье подчёркивали первым делом, родился болезненный и хилый, странный и задумчивый мальчик, крещённый Вильямом. Не будучи дворянином, мальчик не имел фамилии, и его прозвали по имени его деревушки: Вильям из Оккама, впоследствии сократив до Вильям Оккам.

Да он и сам, если бы вы его спросили, очень мало что помнил о себе, кроме логики, ставшей его страстью и жизнью. Чего там, кроме логики, помнить? Небольшой низкий и просевший дом, сложенный из речных камней, вонючий, полный насекомых, с утоптаным земляным полом? Сарай-сеновал и голодный амбар, и скотину, мычавшую тут же, в доме, за перегородкой? Или, может быть, едкий очаг, дым

¹ «Кто ты? Не введи во искушение!» (лат.)

² «Рождённый Кругом до и после тебя» (лат.).

³ Цехины — наиболее популярная в курии времён Оккама монета венецианской чеканки, интернациональная, что-то вроде современного доллара США.

от которого шёл из всех щелей, прокоптив обитателей, не имея отдельного дымохода? Большую и низкую постель, где вповалку спали, почёсываясь от блох, и взрослые и дети? Безразмерный труд и скудно-скучные церковные праздники, в которых веками долдонили одно и то же — как если бы у современного человека был только один видеофильм и он каждый вечер смотрел бы только его, наизусть уже зная каждое слово? Или вспомнить диковатые сельские карнавалы, одуряющие, как наркотик, буйства крестьянских хороводов, бесноватых, до упаду, танцев? Рассказни пустомель о каких-то таинственных дальних странах, в которых никто не работает, но еды хватает всем, а Пасху празднуют через день, и старики там полны сил, будто юноши?

Безродному и бесфамильному юноше из деревушки Оккам нечего увидеть, оглядываясь в прошлое, кроме бесконечной серой череды дней, каждый из которых не сулит человеку ничего, кроме оглушающей и истощающей, всегда бесконечной и чёрной работы. Труд давал возможность выжить, хоть и далеко не всегда. Но когда давал — давал её с такой жадностью, что не оставалась места ни на что, кроме труда.

Трудно поверить, что мальчик из Оккама не только не умер и не оскотинился в тоске тамошнего погребения живою, но стал скандально известен всей Европе, её епископам и королям.

Но самое столбнящее и поразительное — круг вопросов, который все они обсуждали во мраке Средневековья! Трудно даже вообразить себе вопросы, жегшие им пятки и затылок, более отвлечёнными от нужд и реальных проблем их времени, того, в котором и глад, и мор, и вечная война, и чума, и примитивнейшее повседневное насилие, и запредельная грязь, и запредельное невежество!..

Если бы писатель описал рабов на каменоломне, от рассвета до заката дробящих скалы под визг плётки надсмотрщика, а потом перешёл к их скудной трапезе из отбросов, и вдруг вложил бы им в уста обсуждение гекзаметров Гесиода — поверили бы вы такому писателю? Разве не назвали бы вы его лжецом и дураком, ничего не знаящим о человеческой психологии? Разве о таком будут говорить за тощей баландой изнурённые каторгой полутрупы?!

Праздность отвлечённых философий ещё можно предположить в скучающем на вилле рабовладельце, обожравшемся на пиршественном ложе и овеваемом опахалом. Кстати сказать, именно в такой обстановке философия и вырождается в праздное и гнилое блудомыслие...

Но откуда этот накал страстей по вопросам потусторонним у практикующих и кровавых политиков, у таких, как Вильям, с детства хлебнувших всех скорбей и лишений средневекового простолюдина и нищих до конца дней своих? Что так напугало Папу Римского и ректора из Оксфорда в логически непонятных закорючках Вильяма из Оккама? Что так привлекло к нему в этих иероглифах, которые «без

бутылки не разберёшь», — английского короля, и баварского герцога, и генерала францисканского ордена?!

Старинные пергаменты рисуют нам Вильяма Оккама как фигуру страстную, азартную, энергичную, умудрившуюся влезть во все заговоры и перевороты своей эпохи, востребованную в придворные круги или на плаху у самых разных государей. Его обвинил в ереси канцлер Оксфордского университета Лютерелл, канцлера поддержал Папа в далёком Риме, а отозвал из судей «за пристрастие» канцлера английский король. Но и власти короля было недостаточно, чтобы спасти Оккама!

Вильяма под конвоем доставили в Авиньон, в резиденцию Папы Иоанна XXII, чтобы судить, но четыре года продержали без суда. Ни того, за что его пытались судить, ни почему не судили так долго, современный человек понять не сумеет. Современный человек мелковато плавает для тех глубин!

И вот, отсидев в темнице четыре года, без приговора или помилования, отец всяческого капитализма, словно герой бульварного приключенческого романа, бежит в грозовую майскую ночь 1328 года! Кто-то, оставшийся навеки неизвестным, принёс Оккаму верёвку с узелками, подобными ступенькам. Неловкий и сутулый монах чуть не сорвался, спускаясь по узловатому канату с отвесной стены, но — спустился. Внизу ждали другие авантюристы: генерал Чезенский и юрист Беренгаций. И — кони... Кто пожертвовал на побег францисканцев свою конюшню — мы никогда не узнаем. Но такие люди нашлись.

Отец капитализма в седле держался плохо, не то что с пером в руке над пергаментом, но скакать ему по тёмной дороге в ночном ливне, обильном как тропический, под пугающими коня и всадника громовыми раскатами, пришлось долго. Они доскакали до морского побережья, а от Авиньона, где Оккам «мотал срок», — это не ближний свет. Пошаливающее крупными волнами море в темноте предстало мрачной однотонной пучиной чёрных тонов, бесконечной и непреодолимой.

Францисканцев ждала галера. Она, вспенив волны веслами, пошла в сторону Пизы, где ждал со своей армией уже ставший императором Людвиг Баварский, непримиримый враг римских пап. Когда Оккам предстал перед императором, он сказал свою знаменитую фразу: «Защищай меня мечом, а я буду защищать тебя словом!»

Фраза эта — конечно же одна из множества в длинной, но в целом забытой, речи — так поразила современников, что её пронесли через века. Оккам продолжил свои бурные умственные изыскания в монастыре францисканцев в Мюнхене, где воспользовался покровительством друга императора Людовика — антипапы Петра де Корбени...

По правде сказать, весь этот романтический детектив не имеет никакого значения, потому что по мере умирания участников умерли и все их интере-

сы, надежды, страсти. Достаточно смениться одному поколению — чтобы яростные и бешеные огни разборок превратились в холодную золу неуместной в новом дне скуки. Кого теперь могут взволновать, чего хотел захватить Папа Иоанн, чего — Людовик Баварский, а на что разинул хищную пасть Петр де Корбени? То, что для них в их схватке животных было сладкими кусками, превратилось сперва в кал, а потом и в окаменевший кал.

Если бы Вильям из местечка Оккам в графстве Серрей ограничился бы только сварами за кусок с римскими папами и прислуживанием германским императорам — о нём бы не вспоминали века спустя. То, что происходит во времени, — остаётся во времени и умирает вместе со своим временем. Но то, что делается в Вечности, — единожды свершившись, потом переходит из эпохи в эпоху, с агасферовым бессилием умереть — даже если страстно того желает.

Оккам продолжает жить. С течением времени он не становится меньше, наоборот. Смерть избавила его от зависимости, он необходимости опасаться тиранов, из бессмертия ему наплевать на любых диктаторов, гонения от которых могут стать только рекламой его трудам!

* * *

Злая гниль в бочке рома... Достояние семьи Гуллисов со времён наполеоновских войн, которые, впрочем, велись не так давно, как большинству людей кажется. Сила злой гнили очень велика — но тратить её, учитывая её ограниченность, очень жалко. Две трети злой гнили Гуллисов уже окаменели, злая гниль, как мёрвый сухой коралловый отросток, стала бесполезным скелетом самой себя.

Происходит это так. Когда нужно решить очень большую проблему семейства Гуллисов, открывается старинная бочка с испорченным ромом и сливается какая-то его часть. В силу этого обнажается часть злой гнили, мерзкой и слизистой, которую консервировал ром. В помещении, где всё это делают Гуллисы поколение за поколением, зависает липкий, густой, тошнотворный смрад неистового зловония. Засыпая в этой вони, тот или иной Гуллис обретает в Подпространстве, в плесневелой стране снов и бывшего Эдема, мощь астральных аллигаторов.

Проползая в чужие сны, антидуши чудищ флоридских трясин убивают во сне того, кого нужно устранить Гуллисам. И это очень сильный аргумент в двух столетиях «семейного бизнеса», не раз клонившегося к банкротству, но всякий раз, благодаря злой гнили, обнажённой из рома, выкарабкавшегося по головам конкурентов...

Беда в том, что открытая часть злой гнили, отдав атмосфере свой умопомрачительный терпкий запах, выполнив волю владельца, отмирает и становится сухой костью. А значит, однажды, когда весь ром сольют из старинной бочки, семья Гуллисов останется

обычными людьми, не имеющими никаких сверхспособностей!

Потому, конечно, злую гниль обнажают наголо только в самых важных и критических случаях. Например, таких как гибель сына в Африке, гибель странная и малопонятная, про которую безутешные родители ничего не знают: кто, как, каким образом? Знают только за что: за деньги. Потому что в их мире всё и всегда только за деньги. Но как отомстить неизвестно кому, на кого наслать аллигаторов — чтобы боялся уснуть, а уснув — не проснулся?!

Злая гниль воняла в родительской спальне покойного Бобби, и астральные аллигаторы гонялись пока за Фокки Фрешем, единственным, про кого знали Гуллисы, хотя — как они понимали — вряд ли виновным в их трагедии...

Никогда конкурентная битва рыночных хищников не заканчивается на Земле. Она всегда имеет свои тени в Подпространстве, как, впрочем, и в небесах, и на море. Разные люди блуждают в плесневых мирах бывшего райского сада, воплощавшего все фантазии «без фильтров» — и потому ставшего в определённый момент очень опасным для людей с их склонностью постоянно выдумывать всякие гадости... Теперь этот мир поражает пустотой своей переполненности, разорванными полуформами, по которым бегут лианы — душители, триузмы, со знойными потными цветами их ароматного безумия.

— Знание, конечно, сила. А неучение — тьма, — учила в детстве Леру мать, грозная и прекрасная Алина Очеплова. — Но Смерть вносит в этот ряд школярских истин свои правки. Смерть делает каменный топор сильнее головы Сократа. Потому что скорее камень проломит череп, чем череп проломит камень... В этом камне — адская сила агрессивного невежества... Если с порно — то уже не бесспорно; при всей зоологической примитивности порно!

Тонкость хрупка — кричала вся флора Подпространства. Тонкость хрупка... Её давит масса и съедает плесень...

— Монстры Подпространства, — утешала себя Лера, возвращаясь от кокона, спеленавшего Якова Шумлова, — созданы фантазией земных двуногих существ, а создатель — больше создания. В данном случае — страшнее. Все эти оборотни, вампиры, гарпии и зомби — адаптированная для детей, сглаженная и смягчённая версия ужасного в самом человеке. Взрослым людям обыденность представляется куда страшнее самой страшной нечисти из сказок...

Белая волчица Доля — так прозвала телохранительницу в своих снах Валерия Очеплова — была в этом мире как дома: играла, припадая передними лапами, словно шенок, перед хозяйкой, перекатывалась на спине, тявкала и кружила, принюхиваясь.

Сумеречный туман — одновременно и росные пары, и отсутствие света, клубящийся мрак, курящееся над зыбью дыхание трясин. Что такое тряпина, знаете? Топь, дряга? Это отражённое нустиче-

скими структурами человеческое забвение. В начальной версии мира, Эдеме, всё было как в экзот-оранжерее лучшего из ботанических садов, и, конечно, не было болотных трясин. Но потом радиация человеческого мышления стала прогибать трёхмерную реальность под своё воображение, и забвение, полное имя смерти, воплотилось в гнилых, бездонных топях...

Чавкающие рты-капканы силлогизмов притаились в ковре серой плесени полумысли, грозя отхватить полноги острыми, как бритва Оккама, игольчатыми, как ушко, в которое лезут верблюды, зубами. Большинство этих «муравьиных львов» надёжно укрылись в подушке гнили, поджидая жертву, но их выдавали яркие грибки-паразиты, спорыньи-софизмы на серповидных ободках челюстей.

Очень странный мир!

Он не материален, как верхний наружный, но ведь он и не фантастический, потому что фантазии — индивидуальны. А здесь всё общее и на всех людей, здесь люди встречаются, пересекаются, даже убивают друг друга — чтобы убитый умер во сне, оставив близким подозрение на ночной инсульт...

Это Декарт, в своё время, кстати, лишь расширил исходную мысль Оккама (каждый из европейских философов — только какая-нибудь глава из Оккама, расширенная детализацией!), жёстко разделит материальный мир, обладающий протяжённостью, и идеальный мир, обладающий мышлением. Как будто их только два! А на самом деле сколько между ними переходных форм — и не сосчитаешь...

Вот, к примеру, машина: она металл, но ещё ведь и замысел своего конструктора! Чего в ней больше — материи, её соткавшей, или мысли, её осмыслившей? Да разве материя не есть всего лишь загустение мысли? Или наоборот — разве мысль не есть витающая, не успевшая отвердеть материя, иное агрегатное состояние всё того же первоэлемента, из кирпичиков которого сотканы и все вещи, и все мысли?

Много на свете вещей, про которых в точности не скажешь: существуют они или отсутствуют. Да вот возьмите, для примера, Жизнь и Смерть! Что они такое?! Смерть — небытие, но ведь небытие — это же отсутствие. Получается: она, по определению, есть то, чего, по определению, нет. Или вот Жизнь: если она есть, то Смерти нет. А если Смерть есть — то Жизни нет. А как же её нет, если мы разговариваем, и кто-то говорит, а кто-то слушает?

А с другой стороны: если от числа отнять X, и число останется само собой — то X=нулю. Ну ведь правда?! Берём бесконечность времени. Отнимаем от неё 70, 80, даже 100 лет жизни. Остаётся бесконечность. Но она же число?! Или как?! Получается, что конечная жизнь равна нулю? Абсурд, казалось бы, но ведь буддизм на этом построен...

...Каньон изоморфических систем, обросший неяршливой и колючей асертоидной растительностью, превратился в капкан. Слева глыбы. Справа глыбы. Мёртвые мысли, осадочные породы угасших

веков, пемза минувших огненных страстей... Со входа на Очеплову полз флоридский аллигатор, душа хищного чемодана. Лера дёрнулась было на выход, но и выход с другой стороны закрыла пасть такого же коротколапого длинномордого аллигатора...

8

В той школе, которую ещё застали отец и мать Якова Шумлова, путь человечества представлялся как железная дорога с неотвратимым чередованием станций. Путь человечества начинался с каменных орудий и наскальных рисунков. А дальше поезд, согласно расписанию, шёл по графику через все станции, до конечной — коммунизма. Объявленного учителями свыше и учителями отца и матери Якова — «неизбежным». И, в общем-то, оно и понятно: там куда свернёшь-то?!

Законы логики так же неподвластны желаниям человеческим, как и законы математики. Если человек начал считать — то он закончит счёт predetermined итгом. Это человеку итог неизвестен пока, а учитель, и Вселенная, и даже задник решебника ответ уже знают! А коли человек ошибётся, то ему придётся пересчитывать, и верный ответ он найдёт не с первого раза, но ведь всё равно найдёт. Долго ли, коротко плутать ему в расчётах — нет у него возможности поломать их изначальную логику.

Существует железнодорожная, локомотивная неизбежность и неотвратимость появления абстрактного мышления из человека, религии из абстрактного мышления, коммунизма из религии. Потому что если вы уж взялись вычислять «дважды два», то так или иначе придёте в итоге к четырём.

Есть законы развития разума, законы становления разумной деятельности, по которым человек, отходя от животного, приближается к коммунизму, и наоборот. И выпрыгнуть из них наука не даст доказательному мышлению нигде, кроме одной точки, одной дырочки, найденной Вильямом Оккамом в XIV веке...

Найдя эту дырочку, сделавшую возможной альтернативное развитие разума, Оккам создал грядущий капитализм, хотя, конечно, совсем не стремился ни к какому капитализму, да и слова-то такого не знал.

Будучи величайшим из логиков, непобедимым в логических диспутах, Вильям из Оккама поставил под сомнение то единственное, что можно поставить под сомнение в необратимом ходе логического развития разума. А именно — абстрактное мышление. Ведь невозможно опровергнуть ни коммунизма, ни религии — если не отвергаешь само по себе первоначало их, обобщение мысли. Обобщение порождает их с неизбежностью таблицы умножения, но отказ от обобщения обесточивает и веру в Бога, и веру в человечество.

До Оккама существовала только двойственность: наука — невежество, а у невежества против науки нет

никаких шансов, как у дикаря с дубиной нет шансов против пулемёта. И коммунизм достигался простым линейным просвещением. Само по себе рассеивание тьмы порождало некое подобие советского образа жизни. Но Оккам создал злую науку, противоположную не только невежеству, но и доброй науке. Отрицая реальность обобщённых идей, называя их химерами и болезнью разума, он создал науку, которая уже не госпожа, а служанка звериным инстинктам биологической особи, и она не возносит разум выше плоти, а подчиняет разум плоти. А это уже не дубина против пулемёта. Это уже пулемёт против пулемёта, и неизвестно, чья скорострельность выше окажется...

В XIV веке идеями — совершенно отвлечёнными и — вот ведь парадокс — предельно абстрактными! — Оккам сломал неизбежность коммунизма. Он перенаправил локомотив развития разума на той единственной стрелке, которая есть у этой одноколейки. Логика знают, что больше этот состав нигде перевести нельзя, а вне рельсового пути он двигаться не может... Если же счесть всякое обобщение химерой и болезнью разума, тогда ведь и попытки найти общий образ жизни, общие обязанности для всех людей — химера и болезнь ума. Если универсалий (общих понятий) не существует — как учил Оккам, то как же могут существовать универсальные законы или универсальные права? Как можно уникальное принимать за одинаковое?!

Это отнимает не только равенство, но и само стремление к равенству, тысячелетиями воздвигавшее монастыри посреди свинцовых мерзостей рабовладения и феодализма. Это снимает тот знак равенства между отказом от собственности и святостью, который веками проставляла религия.

Ведь химерой признаётся не только то или иное средство достижения цели, но и сама цель, которая мечтает создать общие рамки и нормы для таких разных, таких уникальных людей.

Отвергнув условное тождество людей, Оккам отверг и безусловное подобие между ними, сделал их никак между собой не связанными уникальностями. Это затем ляжет в основу капитализма, в основу его психической деятельности. Если отрицать реальность универсалии «люди», то фраза «человек поедает человека» превращается в «одно поедает другое». Ведь нет двух одинаковых людей, нет основания у обобщения «человек», следовательно, есть уникальность едящая и уникальность едомая. А в таком виде нет ничего страшного или отталкивающего: кто же из нас не кушал печенья на завтрак? Есть мы, и есть печенье, и мы едим печенье, и что тут такого?!

Идеи Оккама нельзя вписать в ряды антинаучных человеконенавистнических идей, потому что в идеях Оккама нет ничего антинаучного, и нет ничего человеконенавистнического. Он вообще не о людях говорил, а — если близко к тексту — о цветах (в целом) и розах (в частности).

Он и не думал прикладывать своё отрицание обобщений к миру человеческих отношений, как и знаменитой «бритвой» своей не собирался сокращать на заводах и фабриках «сущности», получающие там зарплаты «без крайней необходимости».

Ведь он писал-то «всего лишь» о теории познания, даже и не догадываясь, что теория познания — мать всех отношений, а метод познания мира становится впоследствии отношениями между людьми.

* * *

Президент страны посетил презентацию проекта «Ботвинья» в АО «Биотех». Началось это шоу для начальства, то шоу, которое «маст гоу он» — у огромного «успокоительного» аквариума в фойе на этаже директората.

Колоссальный океанский аквариум с экзотическими обитателями, имитацией коралловых рифов и грамотной подсветкой занимал тут всю стену, притягивая взгляды. Оригинально-выпуклый, как борт «планеты круглой», как некая модель земного шара с тихоокеанского боку, полный редчайшими растениями, рыбами и даже моллюсками, он, как и всё в офисе «Биотеха», безмолвно кричал о возможностях и респектабельности фирмы-владельца.

В обычные дни плавное движение рыб и ракообразных, водорослей, пузырьков воздуха, игра цвета и света снимали напряжение клерков после каких-то трудных переговоров, принужденного общения с начальством. Создавали, так сказать, пространство медитации на время обеденного перерыва.

Теперь же весь этаж охраняло ФСО, просвечивая чуть ли не рентгеном каждый миллиметр декора, а играющему в беззаботность Президенту предложили покормить экзотических рыбок сухим кормом...

Рыбки, видимо, к приезду Президента специально недоедавшие, с огромным аппетитом умяли поршковую сыпь.

— Ну и что? — поинтересовался Президент улыбочиво, уже понимая: шоу имеет двойное дно, которое заставит сказать «ах!» по итогам.

— Господин Президент, этот корм для рыб, который вы только что использовали, приготовлен из опавшей листвы. Из мусора, который сжигают и который не знают, куда девать...

— Наверное, способ похитрее, чем просто истолочь жухлядь? — понимающе прищурился Президент.

Ему под светлые очи представили подкарауливающих рядом учёных в белых лабораторных халатах. Один отвечал за «реанимационные растворы» для увядшей листвы и объяснил, что это — «вроде кипятка для бульонного кубика». Его растворы вынимают питательную ценность даже из листка, несколько лет пролежавшего в альбоме.

Распалившись, кандидат наук предложил показать, как превращаются в питательную «ботвинью» листья из гербария, но Президент решил, что всему есть предел, и смотреть отказался.

Второй учёный отвечал за аппетит насекомых. Он его повысил, кажется, в шесть раз, вместе с метаболизмом.

— Мы её кормим опавшей листвой из реанимационных растворов, и она кушает с удовольствием! — похвастался учёный.

— Кто?

— Саранча.

— Саранча?!

Совенко объяснил, что в «Биотехе» изучили питательность более трехсот насекомых.

— Многие из них пригодны к стойловому разведению, обеспечивают огромное количество белка, аминокислот, жирных кислот для питания рыб, сельскохозяйственных животных...

— И человека! — влез радостный технолог. Совенко глянул на него с укором — мол, зачем ты такую шокирующую информацию бухаешь, не подготовив человека толком?

— Кроме того, в насекомых содержится рибофлавин, пантотеновая кислота, биотин и фолиевая кислота, — тархтел дальше академик. — А наибольшая пищевая ценность поймана нами у перелётной саранчи. Мы получаем в итоге смесь-порошок, в котором белка вдвое больше, чем в говядине, железа больше, чем в шпинате, и ряда витаминов больше, чем в лососе...

— Да-а... — покачал головой Президент. — То есть у вас фермы, в фермах стойла, как в коровниках, только вместо коров — саранча?

— Ну, если быть точнее, то это больше похоже на птицефабрику! — скромно потупился Совенко. — Начинали мы с переработки полевой ботвы, и потому проект получил название «Ботвинья»...

— А вот это зря! — посуровел Президент. — Ботвинья — прекрасное русское национальное кушанье, зачем его сюда приплетать?

— Ну... — засмутились учёные. — Это же мы только технически, между собой, не в качестве бренда... Брендвое-то имя у нас «Бел'ок». Читается как «Бел'окей». Нашим зарубежным партнёрам так понятнее.

— На импорт работаете?

— А куда же без него! Стране валюту зарабатываем...

— Ну, что могу сказать? — пожал плечами Президент. — Как всегда, молодцы, «Биотех»! Кто бы, кроме вас, додумался опавшие листья превращать в валюту? Только об одном прошу — переименуйте, незачем сюда ботвинью вмазывать...

— Ваше слово — для нас закон! — потупив глазки, пообещала смиренная Ева Алеевна Шарова.

И вся толпа двинулась дальше по «объекту», делая щедрые паузы в движении для фотосессий. Журналисты вились вокруг центральной группы визита — как вьются мухи, не скажем, вокруг чего...

— А здесь у нас буфет! — широким жестом презентовал радушный Совенко.

— Надеюсь, тут без насекомых? — улыбнулся Президент.

— Ну, что вы! Насекомые в азиатской кухне, а у нас классическая русская кухня, самая богатая и чистая в мире...

— Это хорошо...

За буфетной стойкой стояла сервиратор Ирина, в шёлковой униформе и передничке, так выгодно подчёркивавших её завидную фигуру, что казалось — спецодежда приобретена в сексшопе. Совенко по-свойски подмигнул «работнице питания, приставленной к борщам», на которую, как в старой песне — раньше никто внимания не обращал... А теперь на нехватку внимания грех жаловаться!

Не то чтобы кто-то хотел нажиться на карманных деньгах Президента, просто придворный обязан знать нравы государя, и Совенко их знал. Сложилась такая традиция, что Президент во время своих визитов на разные форумы угощает прихлебателей мороженым. А традиции нарушать не следует...

Поэтому, когда глава государства подошел к барной стойке, его там ждало мороженое «Гологодское» в стаканчиках. С Гологдой, а точнее, с девушкой из Гологды, у Совенко были связаны свои, потаённые, ностальгические воспоминания. И когда предлагали варианты — он сразу же выбрал этот.

Президент в сопровождении многочисленной делегации из членов правительства и глав корпораций, любясь девушкой-мороженщицей, протянул тысячную купюру. Согласно ритуалу, Иришка стала искать сдачу и очень органично изобразила замешательство, как учили, готовя эту постановку.

— Мороженого — всем! — сказал Президент.

— У нас желающих много, — льстиво влез кто-то из правительства, схватив стаканчик «Гологодского». Потом взяли мороженое пресс-секретарь Президента и глава Минпромторга, потом министр транспорта...

— Проверьте, хватает ли? — распорядился Президент, кушая Ирину глазами.

Ирина ответила, что сбилась со счета. В этот момент Совенко, чтобы не мелочиться, барским жестом сунул ей еще пяти тысячную купюру.

— Прибыль в этом году у вас какая? Восемьдесят миллиардов? — проявил осведомлённость Президент. — Можете себе позволить мороженое купить...

В голосе была шутливая зависть, лёгкая подначка. Прибыль корпорации была гораздо больше, но и озвученной хватило бы на мороженое с лихвой...

Журналисты поинтересовались у Президента, вкусное ли оно?

— Рекомендую — ответил он, протягивая ближе к объективам камер марку «Гологодское»...

— Мы не изобретаем тут велосипедов! — объяснял журналистам Совенко, тоже получивший от Первого стаканчик мороженого и теперь нелепо державший его, тающий, в отставленной руке. — Это старые советские биотехнологии, которые мы просто мешаем забыть. Цивилизация устроена так, что открытия в ней не только делаются, но и забываются. Иногда на много веков, а иногда и с концами.

Даже самые волшебные биотехнологии совершенно неинтересны нашим современникам, если бесплатны. Но когда они начинают приносить миллиарды — их из корысти подпитывают и лицемерно поддерживают. Прискорбно, разумеется, но таков тлетворный дух времени!

Обед для Президента был качественным, но скромным. Придворный должен уметь две вещи: показать радушие и не пытаться поразить роскошью. Если ты живёшь плохо, то ты неинтересен, а если слишком хорошо — то интересен в плохом смысле.

Президенту сервиратор Ирина, естественно, primero, как положено по «табели обноса», подала царскую уху, расстегаи с красной икрой, шашлык из угля и блинчики с земляникой. Знали, что он любит рыбу. Хлеб к ухе заменили калитничками — маленькими пирожками из ржаного теста. Президент никогда не хвалил еду, но, если не нравилась, просто отказывался есть. Эту — ел. Молча. Значит, угодили...

— А вообще, — расслабился после рюмочки «Белуги» Президент, — я думаю, вы неспроста мне из всех своих чудес именно это показать решили... — Прищурился и доверительно взял Совенко за пуговицу пиджака: — Как всегда у вас, Виталий Терентьевич, с намёком, а? Мол, есть саранча, опустошающая поля... А мы её в стойла и превратим в жирный белок! Жирность продукта измеряют в процентах, а толстость?

— Толстость — нет, — улыбнулся академик. — Как и толстовство. Его в процентах не измеришь... Жирность — наука, а в культуру можно только верить...

— Хороша культура, саранчу раскармливать! — иронизировал Первый. — Это ведь вы намекаете на то, как я приватизаторов использую?

— Ну, не без этого... Все мы, господин Президент, исходим из возможного и ограничены наличным... В каком-то смысле проект «Ботвинья» — действительно намёк на использование дегенератов и наёмников... Массы без ума и совести могут быть полезны делу, если их правильно применять... А других-то масс у нас пока нет, господин Президент...

— Мы не можем считать своей ошибкой трагические заблуждения гигантских масс! — продолжил Президент. — Мы не можем управлять с помощью разума и красоты в безумном и безобразном мире, где всё ещё бродят призраки «шахтёров за Ельцина». Нам оставлены только инструменты их страха, их алчности, их податливой на лесть и ложь глупости — и нам приходится вести их этим, потому что вести их иначе невозможно. А завтра? Кто знает?!

— Вы очень проницательны, господин Президент, я действительно хотел показать вам стойловое содержание саранчи, поедающей подножный мусор... Той самой саранчи, которую тысячи лет люди зовут проклятием. Но и она, если правильно с ней

работать, — превращается в источник белков и прибылей!

— Мне грустно, Виталий Терентьевич, оттого, — сложил Президент ладони домиком и пригорюнился как-то рекламно, обаятельно, — что мир, который мог бы быть так прекрасно обустроен, является такой помойкой...

— Мог бы... — эхом повторил Совенко. — И является. Переставляя местами элементы, — повторил он свою излюбленную, даже в каком-то смысле навязчивую идею, — можно из любого сделать любое, «всё из всего». Вселенная бесконечна, а значит, потенциал удовлетворения любой из потребностей в ней неисчерпаем. Нужны только две вещи: знать и желать. А вот именно их-то и нет... Проект «Ботвинья» в этом смысле у нас немножко философский. Презентуя, я наблюдаю, на что у людей разгораются глаза.

— И на что?

— Когда речь идёт о капитализации, долларах, рублях... у них реально горят глаза! И ты вдруг понимаешь, что человек, который ничего не желает знать о яблоне и садоводстве, — яблоки-то реально любит! Как плодоярка, не мыслящая себя без яблок — и о себе в агрономии... Но глаза тухнут, господин Президент, глаза гаснут, когда говоришь о самой сердцеvine чуда, о превращении мёртвой пади в жизнь, о превращении саранчи-убийцы в кормильца! Капитализация, ценник на мешке саранчевого белка, стала тем куканом, которым я за жабры тяну людей за собой...

— А ещё которым — на меня намекаете, Виталий Терентьевич?!

— Ну, в определённом смысле... Это сходно с особенностями модели вашей власти, опирающейся на алчных наёмников, на банды приватизаторов... И не потому, что вам этого сильно хочется, вы, скорее всего, предпочли бы иную опору... Да просто в этой нейробиологической трухе «шахтёров за Ельцина», среди идиотов с их зоологической матрицей реагирования, опереться больше не на что! И вы, господин Президент, и я получаем белки из саранчи, вот почему я решил презентовать в ваш визит именно проект «Ботвинья»...

— Мы же договорились, что вы переименуете его!

— Хорошо, проект «Бел'окей»...

— «Белекей» по-татарски «маленький»! — блеснул эрудицией Лидер.

— У нас будет большой.

* * *

Белая волчица Доля обескуражила аллигатора, вползшего в разлом, условно заменяя — с северо-запада. Волчица рычала, атаковала, кусала его непрошибаемый выпуклый нос — отскакивала от его, крышкой сундука щёлкающих в ответ, метровых челюстей. Вряд ли волчица могла остановить это бронированное бревно чем-то, кроме изумления. Но изумлением на некоторое время остановила.

Аллигатором, вползшим в диагональ каньона с юго-востока, попытался заняться рой африканских ос-убийц. Этот монстр полз быстрее, потому что осы не могли его даже удивить. И тем более — как-то навредить ему, тому, чья шкура толще дубовой коры!

«Умрёшь в Подпространстве — умрёшь и в Пространстве» — этот урок Лера вызубрила давно и прочно. И даже помнила, при каких обстоятельствах это ей впервые сказала бывалая и тёртая родительница...

Мама делала грушевую шарлотку с корицей и какао. И попутно, манипулируя вкусными руками над мраморным разделочным столиком, объясняла дочке-гимназистке тайны страны снов. Откуда, вполне ожидаемо для «предков», перескочила на суть капитализма:

— Ты взяла, чего хотела. Взяла, обидев людей. Но это не важно, потому что и обидчик, и обиженные уходят в небытие без последствий. Капитализм есть вера в Смерть. Если ты веришь в то, что Жизнь продолжается, — ты так вести себя уже не сможешь. Тебе аукнется. Бумеранг обид вернётся. А в мире смертопоклонников он просто не успеет вернуться, понимаешь? На этом обрыве всех отношений, обид, счетов, разбирательств Смертью и строятся все их расчёты...

Лера имела своё мнение на этот счёт. Мать говорила на темы коммунизма с голоса Совенко, а Совенко — любитель интеллектуальных задач. Простые ребусы ему неинтересны, и он двигался по жизни, отыскивая всё более и более сложные.

«Как достать рукой до звёзд? Как поймать лису за хвост? Как из камня сделать пар?». И в итоге любитель сложных задач нашёл самую сложную и неразрешимую из них: как построить коммунизм? Лера не без основания считала, что покровителя семьи привлекал не сам коммунизм, а именно сложность задачи перехода. Он очень циничный человек, этот Совенко, и он думает только о себе. Готовый «с простыней рваных срываться, ревнун к Копернику, его, а не мужа Марьи Ивановны, своим считая соперником».

Лера не знала, зачем это нужно. В её представлениях мир куда проще. В нём есть радость для победителей и слёзы для побеждённых. Не хочешь слёз — учись побеждать. Совенко же, да и её мать, «повторюшка-тётя хрюшка», чем больше побеждали, тем больше плакали. Такое у них было странное и извращённое представление о жизни, которое Лера и не думала разделять.

Для Леры есть Подпространство и есть бои, продолжаемые во сне. Как сухопутная война, продолжаемая на море! При чём тут капитализм и его язвы?! Зачем технический разговор о безопасности в бышем Эдеме продолжать этими нравоучительными нудностями? Лучше бы мама поподробнее рассказала, как вырваться из каньона изоморфических напластований былых цивилизаций, запертого двумя источниками крокодиловых ремешков и туфель!

Пришлось, за неимением родительских уроков, напрягать общее образование.

— Доля, замри! — приказала Лера Очеплова и сама застыла тонкой точёной статуэткой.

Аллигаторы видят только движущиеся предметы. Конечно, здесь иные законы, и это не совсем аллигаторы, скорее их проекции, но как знать? Вдруг сработает?

И сработало. Северный зубастый чемодан был явно дезориентирован. Он вертел длинной головой туда-сюда, явно не понимая, куда испарилась добыча? Остановился, даже сделал шаг назад, на своих коротеньких уродливых лапах-обрубках... А вот южный — полз дальше. Проклятые астральные осы африканской шаманологии! Они вились и вились в танце роя, и Лера не знала, как приказать им остановиться. Видимо, для них и нет никакого стоп-приказа, ведь они же тогда на плесень все упадут!

— Ну Огюст! — возмутилась Очеплова. — Навязал телохранителей на мою голову!

Помощь пришла, откуда не ждала. С отвесной стены каньона омертвевших смыслов, прямо на спину аллигатору Гуллисов спрыгнул пожилой, но в хорошей физической форме Дядя Китя. Питрав. Тем более, что здесь, в царстве снов, он был несколько моложе — здесь человек подгоняется под оптимум самомнения...

Железные руки дяди Кити, спасая девочку, которой он в день её двухлетия мыл попку под краном, ухватились за такие же железные челюсти астрального чудовища... Если бы аллигатор оказался сильнее — то перекусил бы, как пассатижи проволоку, обе кисти Питрава. Но получилось наоборот: в стиле знаменитого и хорошо с детства знакомого Лере пестергофского фонтана Питрав раздирал челюсти аллигатора.

Монстр сдался не сразу. В какой-то миг страшного армрестлинга он остановил расширение створа и даже попытался взять реванш, стал сблизать ряды костяных конусообразных заточек. Видно было, что Питрав устаёт. Видно было, как глубоко вошли зубы в его ладони и как обильно струится из них голубая, в Подпространстве, кровь. Ведь это всё равно, что отгибать на себя доску, набитую острыми гвоздями!

— Доля, фас! — скомандовала Лера, мысленно добавив: «Бог в помощь!»

В зазоре между двумя рядами белых гвоздей виделось жёлто-розовое гниловатое нутро, специфический крокодилий язык. Тот, про который наивные думают, что его нет. Тот, который на самом деле — прирастает у этих тварей по всей длине ко дну ротовой полости...

Бесстрашная Белая волчица, готовая отдать за хозяйку жизнь без раздумий, тем более что и думать ей особенно нечем, прыгнула по-собачьи в этот зазор и впилаась клыками в студенистую ротовую массу...

В Подпространстве боль чувствуется иначе, чем в Пространстве. Но тоже чувствуется. Ведь всякая расщеплённость небытия, лишившаяся абсолютной

черноты и бесчувствия, имеет и собственную форму боли! Аллигатор почувствовал, что эти русские, на манер палачей Ивана Грозного, рвут из него язык — хоть у аллигаторов и нет языка в теплокровном смысле слова и органа...

Зубастая рептилия сделала последнюю попытку сомкнуть продолговатый капкан, и в этом случае вместе с ладонями дяди Кити он отсёк бы и голову Доле. На кону стояло всё — но избалованные со времён наполеоновских войн лёгкими победами Гуллисы в этот раз проиграли.

Силы оставили «северного», влезавшая ему всё глубже в пасть волчица холкой и плечами помогла Питраву. Створ пошёл на распах, челюстные суставы хрустнули, аллигатора разорвали или разломали спереди на две половинки.

— Он издох? — спросила Лера, всё ещё не без страха поглядывая на расчленяемый зубастый чемо-дан в руках старого «безопасника».

— Сама-то как думаешь?! — с охотничьей законной гордостью ухмыльнулся Питрав.

А потом все они — и Лера, и Никита Александрович, и Белая волчица с окровавленной мордой — разом, не сговариваясь, оглянулись на другую опасность: «южного» аллигатора...

9

Старый папский замок, францисканский монастырь, не имел ничего общего с тем, что тут выстроит позже, срыв прежнее убожество под ноль. Помещения были промозглыми, продуваемо-сквознячными, темными и мрачными, светильники давали мало света, зато много чадили. Зловоние пещерного лабиринта проникало повсюду, цепляясь невидимыми корнями своей «ботвы» за деревянные крышки стоявших по углам глиняных корчаг для испражнений.

Здесь, в грязи, сырости и темноте, принимая их за большую нору, плодились и процветали крысы. Иногда папский двор ловил крыс и использовал для пыток. Иногда крысы ловили болезни и делились ими с папским двором...

В маленькие и узкие окна незачем было ставить решётки, к тому же и металл был ещё очень дорогим для такой роскоши «святых отцов», на деле — несвятых и бездетных. В эдакие оконца не пролезали ни узник, ни солнечный свет. В тёплые дни в старом Авиньоне в покоях было холоднее, чем на улице... А зимой — ненамного теплее... Дикий камень кладки действовал на микроклимат и на умы очень охлаждающе.

Пытаясь придать хоть какой-то уют своему приюту, францисканцы устлали полы камышом и травами. Это скрывало грязь, но воняло мочой и ещё больше привлекало шуршащих в травах грызунов...

— Всякое зло до тебя, Вильям, — говорил Яков Витальевич Шумлов в гулком своде каменного

мешка темницы папского замка, — только безумное и глупое хулиганство, порождение темноты, чуждое разуму, искореняемое просвещением по мере его торжества. Всякое зло до тебя — порождено не наукой, а её отсутствием. Но то зло, которое принёс ты, — просвещением не искоренить. Его нельзя победить средствами разума — ибо ты, сам того не ведая, конечно, — обосновал его именно средствами разума. Ведь человечеству ещё предстоит это открыть века спустя — ничто, за исключением мистического и непостижимого, не может быть основано на самом себе¹. По этой причине Мюнхгаузен не может вытащить себя за косицу из болота — вопреки известной сказке о нём. Сказке-то что? Сказка предполагает чудеса, ей законы естества — не указка...

Попытавшись обосновать себя на самих себе, наука и разум обречены были прийти в итоге к самоотрицанию. И ты вооружил их для этого, Вильям! Когда всякие цепные «КПССы» стали лаять о пользе науки средствами этой же науки, молодёжь отбросила познание и предпочла майданный балаган в роли вторичных приматов, вернувшихся в картину мира первобытных пращуров.

Ибо науку, сколько бы вкусняшек она ни давала телесам, нельзя обосновать наукой, как теоремы не бывает без аксиом. Наука вырастает из той жажды мыслить, для которой все блага технологий — лишь приятный, но вторичный и второстепенный бонус. Хорошо, что они есть, но и без них для жаждущего мыслить ничего не изменится в его экстазе познания, одержимости прозреть.

Он хочет понимать мир — выгодно это ему или невыгодно, даст вкусняшки или отнимет. Он продолжает попытки понять мир в темнице и в застенках, на каторге и на капиталистической фабрике (той же каторге), в глухой ссылке или изоляции, куда бы ни уехали его за его склонность рассуждать.

Если бы истин было множество, то наука потеряла бы всякий смысл, сведясь к беспомощному — «у каждого своя правда». Если бы истина была одна, тогда вся человеческая наука обрела бы однозначность таблицы умножения, и всякое просвещение вело бы к одному итогу, на что, кстати, рассчитывали сперва энциклопедисты эпохи Просвещения, а потом и коммунисты.

Но реальность в том, что истин не много и не одна. Их две. Не больше. Но и не меньше. Обе они непроверяемы средствами разума. И обе противоречат друг другу, всякий раз приводя своих сторонников строгим логическим путём к противоположным выводам.

Заблуждения всего лишь заблуждения, и мы развеяли бы их, как тьму фонарём, ведь темнота не умеет сопротивляться никакому источнику света, рас-

¹ Краткое, бытовым языком, содержание теорем Гёделя о неполноте — о принципиальных ограничениях формальной арифметики и, как следствие, всякой формальной системы.

ступаясь даже перед тощей свечкой. Но как быть со второй Истиной? С той, что завершила эпоху Просвещения в Европе кровавым содомом, а советскую эпоху — мародёрским кошмаром?!

— Я не понимаю, о чём вы говорите! — сказал Вильям незримому собеседнику по ту сторону среднего уха. — Видимо, всё это случится много после меня...

— Нет, это случится при вас, Вильям из Оккама, ибо вы теперь бессмертны, и каждый, кто заканчивает свой выбор Пиночетом, — начинает свой выбор с ваших идей... В психической жизни есть короткие, средние, длинные волны... Но есть ещё и базовые, основополагающие, сверхдлинные, и одной из самых ярких таких сверхдлинных волн является ваш номинализм... Вам трудно сейчас поверить, но вы переживёте католицизм, Римскую курию, церковные расколы, и в бывших костёлах возникнут уже магометанские мечети — а ваши идеи по-прежнему будут вдохновлять миллионы сторонников, делающих свой жизненный выбор на ваших основаниях...

Логика, подобная вам, в Европе так и не родится, — сетовал Яков. — Я когда-то пытался с вами спорить, даже письменно, но где мне, я не дотягиваю и до половины вашего уровня... Вся европейская наука и вся европейская философия, от Канта и Гегеля до Маха и атеистов, почерпнут свои начала у вас и превратят в собственные учения, как бульонный кубик разваривают в бульон...

— Я не понимаю, о чём вы говорите! — протестовал совсем сбитый с толку Вильям. — Кто такие Кант, Мах, Pulmenti Cubes¹!?

— Нет множества Вселенных, как и нет одной. Есть две Вселенных, противоречащих друг другу. Но обе истинны. В одной ничего не исчезает без следа, и это неопровержимо можно доказать. Во второй — всё исчезает в никуда, и это тоже, увы, слишком уж доказуемо. Солнце однажды погаснет в Единой, Общей Вселенной — и это абсолютно доказуемо. Но оно не погаснет при моей жизни, следовательно, не погаснет в моей Вселенной. А вот теперь скажи мне, величайший из логиков, — погаснет ли Солнце или нет? Получается ведь, что вопреки всем законам логики оба ответа правильны! Оно погаснет, если я включу в мышление факторы вечности и бесконечности. Оно не погаснет — если я замкнусь в локальности собственного бытия. Все остальные вопросы две системы познания решают таким же образом. Именно в этой вилке становятся бессильными все аргументы Добра, столетиями подбираемые человечеством, лучшими его умами — разбиваясь о локальность биологической особи. Нет единой логики или единой науки у бесконечной линии и конечно-го отрезка. На геометрическом луче десять дюймов всегда больше пяти, а на отрезке десять дюймов меньше пяти.

— Почему?

— Десять дюймов в логике пятидюймового отрезка меньше одного дюйма. Их там просто нет: они там равны нулю. А ноль — меньше пяти дюймов.

— Не может рациональная наука стоять на таких основаниях!

— Рациональная — не может. Человеческая может.

— Но как?!

— Став иррациональной. Неужели вы не слышали, что для купца его грош дороже и важнее ста золотых монет в казне его цеха, потому что грош в его руках, а те сто золотых — вне его досягаемости? Когда человек с такими приоритетами начнёт выбирать между очевидным благом всего человечества и личным обогащением...

— ...У него очевидности поменяются местами с неочевидностями...

— Совершенно верно!

— Но какое отношение моё учение имеет к звериной жадности купца?!

* * *

Фокки Фреш понадеялся на свой знаменитый тесак, за многие годы наёмничества ставший ещё одной конечностью. Он прыгнул на аллигатора, ползшего неизбежностью с южной горловины каньона, сиганул сверху с обнажённым мечете, которое и всадил «заготовке для сумочки» аккурат посреди её бессмысленных глаз оттенка болотного стекла.

Это стало бы концом борьбы там, в географии Африки. Но в Подпространстве всё меняется, и тут зачастую руки куда эффективнее пуль, потому что теснее, дольше в человеческой памяти связаны с идеей борьбы.

Аллигатор Гуллисов не умер. У него там, где у обычного аллигатора мозг, — какое-то однородное гуттаперчевое вещество-наполнитель. С таким же успехом можно засадить шило в брусок резины...

Фокки надеялся нанести несколько ударов — но тесак был зажат, как в тисках, и никак не вынимался обратно.

— Рви ему пасть! — закричал Кит Питрав.

И в этот миг Фреша атаковали астральные осы-убийцы. Они защищали свою хозяйку, в спальне которой африканский шаман поставил их мёртвое гнездо. Но насчёт Фокки Фреша с ними никто не договаривался...

Лера кричала истерически разные варианты команд «назад» и «стоп», но это большой вопрос, понимают ли африканские осы хотя бы язык банту, не говоря уж о русском языке...

Изжаленный телохранителями Очепловой Фокки потерял сперва свою знаменитую шляпу, а потому и равновесие, и без того проблемное верхом на монстре. Вместо того чтобы использовать руки против хищного бревна, Фреш стал размахивать этими руками во все стороны, пытаясь отогнать беспощадных маленьких палачей...

¹ «Бульонные кубики» (лат.).

В итоге охотник стал добычей: аллигатор сбросил его с себя, и — быстрее во много раз, чем это можно описать словами, — заглотил, перекусил ему руку. Потрепал, как собака тапок, из стороны в сторону, отделяя конечность окончательно, вернувшись в изначальную роль начальства.

Фреш теперь напоминал тряпичную куклу без костей, набитую ватой, и только орал он совсем не как кукла, очень человеческим рёвом. Правда, призывая, как и динамики, встроенные в кукол, «маму». Причём попеременно — и в матерщинном смысле «мать твою», и в детском, каким ребёнок зовёт на выручку...

Осы отстали от Фокки, снова атаковав оказавшегося сверху аллигатора, совершенно равнодушного к их укусам.

Кит Питрав с немислимой силой, не иначе духа, потому что нет у человеческого тела таких сил, навалился на корявую боковую ветвь стручковой, как акация, разлапистой антиномии Рассела¹, частенько прорастающей в самых тесных местах распадков рассудка. Дерево, едва ли менее вязкое, чем вяз, способное свести с ума своей тягучей волокнистостью при надломе, оказалось гниловатым внутри.

Поддалось, отделилось от корня с треском раздираемых при святотатстве хламид — и в руке у Питрава оказалась кривая, толстая коряга, черноватая гнилью забвения посередине...

Дальше Кит поступил как копьеносец, напомнив апокрифические изображения святого Георгия. Заорав для бодрости так же громко, как Фокки, он разбежался — и всадил ветвь антиномии в раскрывшиеся для нового отруба кожано-костянистые «ножницы». Под напором витязя, поражающего дракона, аллигатор подался назад и оказался чуть приподнятым. Теперь осы, пропади они пропадом, жалили уже Кита, но тот мужественно старался не отвлекаться. Ещё один натиск — и экзотическая коряга антиномии Рассела вышла через белое брюхо, упираясь в плесневелую твердь. Дальше Кит действовал рычагом, раскрывая адские челюсти на распор.

Хруст продолговатого костяного капкана возвестил о том, что где-то на другой стороне Земли, в собственной постели умер во сне старик Гуллис. Паталогоанатомы поломают головы над тем, что значат перекошенные челюсти Гуллиса, но в итоге отвергнут версию насильственной смерти...

Когда борьба в Подпространстве прекратилась, осы клана Мбав тоже унялись, вернувшись в аккуратное облачко жужжания над головой охраняемой Леры.

— Am I «хана», buddy? — поинтересовался, стискивая место отрыва руки, смертельно бледный Фреш. — Мне finish, приятель?

— Хорошего мало, Фокки... — сокрушённо покачал головой Питрав, морщась на стоны колле-

¹ Антиномия Рассела — теоретико-множественный парадокс, демонстрирующий противоречивость логической системы формализации теории множеств.

ги. — Откушено начисто... Но жить будешь... Как чувствовал, протез покойного Пятао себе приберёг... Ну, придётся, бро, теперь из руки пулями стрелять, тоже неплохо...

* * *

Вильям в папской тюрьме авиньонского замка всё ещё пытался протестовать. Шансов опротестовать, однако, у него не было: ведь собеседник имел несколько веков форы по времени:

— Но какое отношение моё учение имеет к звериной жадности купца?! — возмутился, как мы помним, Вильям.

Яков знал, что на это ответить:

— Ты первый и навсегда доказал, что дюйм может быть длиннее десяти дюймов. Не о том ли сложена песня, пропетая со всех экранов перед самым крахом СССР?

...Кипит гранит, пылает лед,
И легкий пух сбивает с ног —
Что за напасть?
И зацветает трын-трава,
И соловьем поет сова,
И даже тоненькую нить
Не в состоянье разрубить
Стальной клинок!
Стальной клинок!

Если содрать с магии тогу таинственности, непостижимости, в какую магия пытается вырядиться, то прочность тоненькой нити перед стальным клинком объяснит чуждая всякой мистификации логика Оккама. Логическое умозаключение страшно и прекрасно тем, что может быть устранено только одним путём: логическим же опровержением. А больше — никак.

— Если вы будете о нём молчать, то о нём скажут другие, — сказал Яков Шумлов. — Если начнёте прятать и запрещать — его превратят в свою святыню враги, и вы только привлечёте к нему внимание.

— Логически-безупречный вывод, — согласился Вильям, — существует совершенно независимо от человека. И если нет логического опровержения — то ничего не сделаешь. С ним останется только смириться. Не помогут ни гнев, ни отчаяние, ни попытки отстраниться, выбросить из головы...

Оба собеседника, расположенные взаимно в телах друг друга на расстоянии многих веков, как один и тот же сайт на сервильном сервере и удалённом гадском гаджете, помолчали. Лишь дровяные сучки в каменном, почти первобытном очаге, выдолбленном в толще кладки, шёлкали спелыми орехами жара на беззубых дёснах утративших острые алые клыки пламени углей. В старом Авиньоне ещё не построена страшная «башня ангелов», общее жилище для пап и их узников, разделённых лишь этажами.

Ещё не возведена Клементинская капелла, и не воздвигнута в ней кафедра под золотым балдахином,

позже известная всему Средневековью и ставшая именем нарицательным, символом папской власти или безвластия. Ещё только рисуют в ремесленном цеху те знаменитые гобелены, орнаментированные узором из красных роз, которые, ветхие и выгоревшие, доселе встретит в Оккамовом узилище праздный турист...

Последние годы доживают ставшие тюрьмой для Уильяма постройки старого епископского дворца и скромные, унылые, бедные зданья нищенствующего ордена францисканцев, один из монахов которого, лишённый всякой собственности, — отец капитализма. Стены пока — как забор в огороде, но миру ещё предстоит увидеть грядущие высокие стены с башнями, придавшие Авиньону суровые крепостные черты.

Папский замок в 1328-м ещё только в смутных планах папской курии, он ещё не построен, как и всё человеческое будущее, отныне раздвоенное, расщеплённое, разделившееся в своих устремлениях и целеполагании.

Те, кто продолжит верить в реальность универсалий, создадут в итоге многовековыми трудами один мир, с улыбкой Гагарина. Те, кто, прочитав строгую латынь Уильяма, папского узника, а потом беглеца и скитальца, усомнятся в реальности общих понятий, выстроят руками веков и поколений иной мир: с имитирующей улыбку мёртвым оскалом рекламного манекена.

— Неужели такое возможно?! — спросил затравленный Уильям у голоса в голове, сжав впалые виски клешнями собственных запястий. — Неужели всё это я?!

— Да! — подтвердил голос будущего. — Поистине уникальную судьбу даровал тебе Творец, которого будут отрицать, опираясь на твои же логические методы! Начитавшись тебя, Лютер сделает реформуацию...

— Кто такой Лютер?! — почти заплакал заключённый старого, после подчистую снесённого Авиньона.

— Он ещё не родился. Начитавшись тебя, Декарт, уже на французском языке, просто переводя с твоей латыни, расщёпт пропастью несовместимости вещественное и идеальное.

— Кто такой Декарт?

— Он ещё не родился. И его дальний предок ещё пока только в утробе матери... Начитавшись тебя, Кант повторит на немецком твою латинскую мысль о «вещи в себе», непознаваемости вещи. Гегель переведёт с той же латыни на тот же лающий язык твою мысль о Духе, раскрывающем себя в истории.

— Кто такой Кант? Кто такой Гегель?

— Ты их не можешь знать, а они не появились бы без тебя. Но мало того! Атеисты и дарвинисты переводят с латыни на английский «язык цинги», язык слишком рано терявших зубы людей, и потому слишком рано начинавших шепелявить, — ещё одну главу твоего «магнус опуса». А эмпириокритицисты — другую, следующую по счёту... И все они, мно-

гоязыкие западные европейцы, размножат твои сущности до размеров почти вселенских...

— Всю свою жизнь... — застонал Уильям, раскачиваясь на тюремном топчане, как плакальщик на похоронах, — всю свою жизнь я заклинал их не умножать сущности без крайней необходимости...

— История, Вилли, большая насмешница! Ни чьи сущности она не размножила так обильно, как сущности того, кто умолял не умножать сущности! А может быть, ты потому так часто и просил не умножать их, что чувствовал будущее? Знай, что и существование Бога отвергнуто твоим методом отрицания реальности универсалий...

— Бога?! — это совсем уж шокировало опального философа. Вот уж о чём он явно не думал и к чему явно не стремился!

— Увы, Вилли, я понимаю, что ты этого не хотел и не стремился к этому, но отрицание реальности обобщённых понятий обрушивает все доказательства бытия Божия в сфере разума. И когда твои последователи объявят разум высшей ценностью, идею Бога сочтут с ним несовместимой... Кант скажет, что нет никакой возможности доказать бытие Бога средствами ума, — и все будут думать, что это Кант придумал! Но мы-то с тобой знаем, Окки-Покки, кто на самом деле это впервые написал... Правда, на латинском языке, который мало кто понимает вне учёной среды... Но «беспокойный старина Иммануил» прекрасно читал по-латыни!

— Я ставил Бога выше разума! — попытался защититься рыжий веснушчатый францисканец с растающей огненными щетинками тонзурой. — Я как раз и говорил, что знание о Боге выше ограниченных возможностей рационального знания...

— Невелика беда, Вильям! Они просто перевернут твою схему, поняв в ней главное: несовместимость двух начал. Потом они перевернут и Гегеля...

— Кто такой...

— Не важно! Важно другое: твоя логика расщепила европейскую цивилизацию. Единый поток мышления пошёл по двум разным руслам, которые всё дальше расходились друг от друга. Одна часть человечества строила социализм и коммунизм как высшую фазу этого общества. Другая часть человечества, исходя из собственных представлений об окончательной Истине, строила капитализм и фашизм как высшую фазу этого общества. Два человечества разделялись не средствами производства, старина! Средства производства и техника у них были как раз одинаковые, танки — похожими... Они одинаково умели плавить сталь, перегонять нефть в бензин, каучук в резину, собирать часы на часовом заводе...

— Что такое часы?

— В твоё время до них ещё ждать много веков! Но потом они станут обыденностью жилеточных карманов и ремешков на запястье... Так вот, всё это, и индустриальное, и агрономическое, у двух человечеств было одинаково. У них представление об окон-

чательной Истине было разным! У одних — от Аристотеля и врага твоего, Фомы Аквината... А другие, извини, брат, от тебя! Одно настаивало на подобии всех людей и требовало одинаковости для всех них. Другое же настаивало на абсолютной уникальности каждого — и в итоге начертало лозунг «каждому своё» на воротах фабрики смерти...

— Что такое фабрика...

— Да всё равно ты не поймёшь, лучше слушай! Оно ведь неспроста появилось там, это «каждому своё». Это же их символ веры, понимаешь, полемически противопоставленный красному «всё общее»! Но для того, чтобы создатели Бухенвальда пришли к этому лозунгу, нужно было пройти долгий путь теории познания. И если подняться по руслу этого Нила Подпространства до устья, встречь течению, преодолев всю его полноводность, то далеко-далеко, за множеством порогов, найдём мы крошечный родник, пульсирующую венку твоего, Вильям, виска!

Для того, чтобы человек увидел в коммунизме не очевидную цель всей христианской цивилизации, а её врага, нужен был номинализм нескольких яйцеголовых и благонамеренных нищенствующих монахов тринадцатого века... У цивилизации было только две вещи: реальность и мечта. Но после вас, усомнившихся в реальности обобщения понятий, их стало три. Реальность, само собой, но ещё и боковой отросток мечты, выпочковавшийся из основной ветви, сперва больной и кривой и проклятый Папами Римскими, а Православию и вовсе незнакомый, но в итоге давший плоды сортов «Освенцим» и «Барбаросса»... Думаешь, корни капитализма в фабрике?

— Да что такое, наконец, фабрика?!

— Да фабрика — вещь, она бездумна, ей безразлично, кого обслуживать! Корень-то весь в культе уникальности, отрицающей обобщения! В отказе от единства рода человеческого, принятого разумом как основополагающая истина!

— Послушай, голос из бездны, будущего ли или ада... Я не понимаю, о чём ты говоришь, и ещё меньше понимаю, почему ты всё это приписываешь мне!

— Не понимаешь?

— Может быть, я недостаточно силён в латыни...

— Нет, в латыни ты как раз сильнее меня. Просто с учётом твоих открытий, Уильям, просвещение перестало с гарантией производить великого создателя. С учётом твоей логики оно теперь может породить и великого Созидателя, и великого Монстра. Наука и техника — слуги без собственного мнения, им безразлично, кого усиливать. А главным вопросом всех времён и народов остаётся тот, который поставили сперва Аристотель, а потом ты.

— О, святые угодники, с кем ты меня равняешь, искипитель!

— Если мы мыслим математической бесконечностью, то у нас одни выводы, а если биологической локальностью, то прямо противоположные. Но и те,

и другие — безусловно и безукоризненно логичны! Аристотель создал ту логическую неизбежность коммунизма в итоге прогресса, которую ты столь же логически безусловно опроверг. В той единственной точке, в которой из железных умозаключений Аристотеля можно выскочить! Если ты отрицаешь общую бесконечную и вечную Вселенную-континуум и поселяешь всякий разум в его собственную, уникальную и конечную вселенную, то вслед за этим можно опровергать и общую логику, во всех иных случаях непреодолимую!

— У тебя есть один логический сбой, обвинитель...

— У тебя ни в чём не обвиняю. Я рассказываю тебе о твоём грядущем величии.

— Я христианин и воспринимаю твои слова как обвинение! Так вот, даже если это всё так, как ты говоришь...

— Уж поверь мне, Вилли! Я оттуда...

— Народы всегда вырезали друг друга! — запротестовал Вильям.

— Но не всегда у них было для этого научное обоснование, делающее самых «просвещённых» самими жестокими. Звери тоже всегда убивают друг друга, но у зверей нет науки. Науку зверям подарил ты, Вилли... Ты вывел науку из церковной ограды и доказал, что умственное развитие не всегда благо для его окружения. Иногда оно — величайшее из проклятий тех, кто окажется рядом с крепнущим, но эгоистичным умом! Это было бы невозможно, если бы человеческий разум не локализовался в маленькой уникальной вселенной, считая химерой воображения единую, общую, вечную и бесконечную Вселенную, одну для всех. Христианское сознание изначально строилось на том, что всё, единожды сделанное, сказанное и даже продуманное, сохраняется навечно и записано в книгу жизни.

— Это пугает людей...

— И пугает тоже, но страх в преодолении зла — дело десятое. Самое главное — это придавало абсолютную значимость любому действию, и считалось, что всё сделанное — делается навеки.

Если мы говорим о вечной жизни, то всякий, даже мелкий, поступок — абсолютно значим. Если мы говорим о вечности смерти, то даже уничтожение целых народов не значит равным счётом ничего и бессмысленно наравне с любым радением или упованием. Никакого смысла ничему на свете нельзя вылепить из могильного праха...

...Звонница созывала на службу в примыкавшую к францисканской трапезной часовню старого Авиньона, которая, как и другие романские угрюмые и неказистые строения, ненадолго переживёт самого знаменитого из своих узников. И сменится песочных оттенков, мелодичных форм парящей над землёй готикой... Но пока она ещё была часовня не папского двора, а всего лишь зауряд-монастыря, тёмная и тесная, кривобокая, массивная и одновременно какая-то раздёрганная, как будто стены её

щипали каменные гуси и когтили каменные коты: эффект, который создаёт кладка из дикого камня. Часовня с галереей из трапезной, перпендикулярная его овалному огромному, но низкому своду, была двухэтажной: Папа и его приближённые, князья церкви, как бы парили над головами публики попроще.

— Я должен идти! — встал Уильям, давая понять, что беседа с самим собой или голосом из бездны окончена. — Я обязан быть на службе... Я ведь не отлучён от Церкви...

Его отлучат папской волей только через месяц после побега, но и тогда он заявит, что отлучение лжеца — ложно...

* * *

Есть вопросы, на которые наука даёт твёрдый, однозначный и неопровержимый ответ. Есть вопросы — на которые она даст его в будущем. Но есть и «оккамов вопрос», на который интеллект не даст твёрдого и однозначного, неопровержимого ответа НИКОГДА. Развивая ум, ты будешь находить в людях всё больше подобного. Но и всё больше разного. Никакая наука никогда однозначно не ответит тебе на вопрос: что важнее — сходство или различие в подобном? В этой точке придётся слепо уверовать — или сойти с ума...

10

Когда капитан Гектаров, могучий Гектор системы исполнения наказаний разным «ахиллам» и «мене-ляям» криминального мира, отправил всё население «хаты» на работу в котельный зал, Либа не чувствовал никакой беды. Он рассчитывал, что, как положено «старшаку», исполнит роль бригадира, и никак не ожидал нарваться на воровской сходняк. Тем более в специфической форме «правилки»...

В котельном зале СИЗО, где громоздились, напоминая бетонные просторы фабричных цехов, котельные агрегаты с дутьевыми вентиляторами и шахтные мельницы, а оконные фрамуги нижнего света создавали даже в солнечные дни полумрак, пропитанный, как тряпка, масломашинной вонью, сбились разного ранга уголовники. В зал бригада Либы прошла по бункерной галерее, напомнившей о бомбоубежищах, через прозаичные и обшарпанные ряды подсобок, бытовок и служебок.

Ничего чинить в котельном зале оказалось не нужно. Об этом знали все. Кроме Либы, который ни о чём не догадывался до самой последней минуты, когда открылась косая дверь в мрачную и захламлённую мастерскую — комнату кочегара...

Обычно такие покорные и трусоватые, Виза и Толчёный вдруг подхватили Либу под руки, а когда он, возмущённый и гневный, попытался вырваться, то убедился, что эти кабыздохи-рецидивисты куда сильнее его наивных предположений...

— Чего вы, чего?! — рвался Либа, как бабочка, пригвождённая булавкой.

— Того, баклан! — изменился в речи и манерах Робин Бэд. — Хочет братва спросить с тебя...

— Чё за предьявы?!

— Когда родские спрашивают — умолкни в ушарь! Тут фраеров, мужиков и фуцанов нет, прав — значит, выправишься. При левых тебе лепить никто не станет...

— Да кто ты такой, чтобы мне лепить?!

— Кто надо... Спроси толковище...

Зэки, стайно сгрудившись у входа в зольное помещение кочегарки, молчали — и тем давали Робину воровскую ксиву, тюремное прокурорство.

— Так он всё-таки есть?! Мой придуманный отец... — пошатнулся удерживаемый Толчёным под локоток, бережно, как дама кавалером, Шумлов.

Мало кто узнал бы в изнурённом и осунувшемся, одичавшем и лохматом, обросшем щетиной и отчаянием Яке, обряженном в тюремную робу не по росту, холёного и лощёного хлыща прежних лет и коллекций высокой моды. Заключённый по клеветническому навету он считал, что почти уже вспомнил свою настоящую жизнь, которую выдавили фальшивые вытесняющие воспоминания об отце-олигархе... Теперь всё приходилось крутить назад. Как киноленту старого кино, перематывая на бабине задом наперёд...

Из не очень подходящего места, из кочегарской слесарки вышел он, знающий. То есть — владеющий волшебными, магическими «ключами от ничего», отпирающими исходность великой пустоты, пластилина для творчества.

Тот, кто говорил сыну в ложной памяти Шумлова:

— Ты берёшь ноль и расщепляешь его на совокупности положительных и отрицательных чисел. И все они являют собой что-то, тогда как исходный ноль — ничто. И если сложить эти положительные и отрицательные числа вместе, то получится, снова и обратно, ноль. Если ты овладел ключами от ничего, то можешь сделать всё что угодно. Без ограничений, только с одной, но очень существенной оговоркой: ты не один такой. Другие тоже лепят из пластилина, и им далеко не всегда по душе твоя лепка.

Совенко был в тирольской узкополой шляпе с декоративным маленьким пёрышком за шёлковой лентой, в белом, верблюжьей шерсти полупальто, в белых брюках с идеально отутюженной стрелкой и светлых, расхоженных и растоптанных под его большие ноги туфлях-плетёнках. Руки свободны — кейс академика, который близкие называли «ядерный чемоданчик», держал Феликс Фениксов в долгополом, со множеством клапанов, бежевом плаще.

Так память Якова что, не ложная?!

На Шумлова никто пока не смотрел. Все волчьи взгляды скрестились, как шпаги, на несчастном Либе-самозванце...

— Этот сидун — фуфлогон и парашник, — задал направление Робин Бэд.

— ...Правильных понятий не придерживался... — интеллигентно вставил Виза.

— Сам петух петухом, а молодого петушил как пахан. Самозванец! — харкнул словом (ибо по-настоящему в «хатах» не положено харкаться) Толчѐный. Яков ошалело посмотрел на него — знакомого, ставшего незнакомым. Где тот забитый туберкулёзный доходяга в круглых очѐчках, напоминавший библиотекаря в блокадном Ленинграде? Упитанней Толчѐный не стал — но как будто бы с него развернули фантик, обнажив внутренность, от взгляда на которую веяло сизым холодом зимнего турника...

— Вѐл себя как вор в законе, — протоколировал вертлявый Робин Бѐд. — Кто тебя, баклан, короновал? На каком сходняке? Какие про тебя малявы по чалкам слали? Чѐ молчишь, язык засосал, ссыка?!

— Родским себя почуял?! — лез с предъявкой Виза. — Торпедон! Смотрящим себя возомнил?

— Сами и назначили... — бормотал ошарашенный Либа.

От внезапного предательства сизых тюремными татуировками сокамерников Либа пребывал в полубморочном и полубезумном состоянии. Ещѐ несколько минут назад он был «король на зоне», «по натуре авторитетный», и эти задохлики, каждый вполонину от массивного Либы, заискивали перед ним, на цырлах ходили...

И вдруг мир Либы перевернулся, накрывшись медным тазом. Тщедуши оказались жилистыми и, при всей их худобе, каждый, как выясняется, не слабее слобно-пухлого зиц-пахана! А самое главное — мгновенно, быстрее дымка от папиросы, растаял весь тот фимиам почтения, которым много дней окружали его в камере Робин, Виза и Толчѐный! Теперь тюремные волки презирали его, как пойманного барана, видели в нём добычу! Чухан — избранный объектом насмешек и издевательств, хотя бы потому, что в каждой брутальной компании или банде должен быть объект насмешек, — вдруг оказался «бугром», и теперь те, кто хихикал над гнобежом Яши Шумлова, собираются таким же манером угодливо хихикать над гнобежом Либы!

— А ты бы сказал: не пахан, авторитета нет... — запоздало учил Виза. — Первоходка... Общакон заведовать решился, кочет золотушный?

— Сам не работал, других гонял! — жаловался Робин. — Швабры в руки не брал — по какому праву? Все «грелки» через себя пускал...

— Думаю, братва, мочить его надо! — предложил Толчѐный. — Как прокладку!

Достал «тюремный кинжал» — отломанный от сигареты фильтр, прижѐнный и придавленный на подошве кирзы: маленький, но очень острый ножичек.

— Вмешивался в дела блатных, вякал на разборе без права голоса... — доябедничал Виза. — Надел «косяки». Предлагаю без красной пасты, но опустить в петушак...

И все ээки в котельном зале повернули узколобые страшные головы на Совенко:

— Что скажешь, Хозяин? — за всех спросил Робин.

Глаза Совенко были втягивающе-глубокими и мѐртвыми: взгляд головоногого, холодный и сверливший всякого взор удава.

— Некоторый человек, — мрачно начал Виталий Терентьевич, усевшись в мигом пододвинутый к нему пластиковый, полукруглый стул, какие бывают в летних кафешантанах, — насадил виноградник и обнес оградой, и выкопал точило, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился.

— Да! Отвалил, короче! — комично поддакнул сбоку вертевшийся тут же мелким бесом Робин Бѐд. Он напоминал дворняжку, одновременно и ликующую с появлением хозяина, и вымогающую в ликования своём подачку.

— ...Много раз посылал к виноградарям слуг, — даже не глянув на Бѐда, продолжил Филин. — Те же их избивали и поносили с бесчестьем. Тогда подумал: постыдятся сына моего, любимого и единственного...

— На совесть, то есть, человек понадеявшись... — крутился в паузе Робин, под рукой в подпѐрдышах.

— ...Но виноградари сказали друг другу: это наследник; пойдѐм, убьѐм его, и наследство будет наше. И свершили. Что же сделает хозяин виноградника?

— Да вот! — выскочил по-шакальи вперед и помахал кулаком под носом «урок» Робин. — Все рамсуйте, что он сделает!

— Придет и предаст смерти виноградарей, — ответил за всех Яков, знавший, откуда притча и какова еѐ концовка, а все вокруг смотрели уже не на Либу — на него, Якова... — И отдаст виноградник другим.

— В натуре! — горячо, и, по глазам казалось, искренне поддержал Робин, подлаживаясь к молодому хозяину — А хули они так делали?!

Либа хотел что-то сказать, провиснув между железной хваткой Визы и Толчѐного. Он хотел — но не мог, не получалось, потому что он одновременно стремился и заорать гневно, по-хозяйски, и умолять жалобно, по-детски...

— Кончай с ним, сынок! — сказал бесцветно Совенко и предложил, как предлагают бокал шампанского, — заточку в руке. — Вали за обиду. Открой свой сѐт правды и справедливости...

— А не хочешь, так нам дай, — затыякали волки, превратившиеся в беспородных, уродливых собак, гомоном перехватывая друг у друга хозяйское внимание. — Нам скажи, мы его удавим по-тихому... Сука, сам себя короновал, на уважаемых людей гнал, зона такого не прощает...

— Ну, так что, сынок? — улыбнулся отец во весь оскал. — Или у тебя опять в душе интеллигентские терзания?!

— Нет, папа! — твѐрдо сказал Яков и принял нож. — Когда будет нужно для дела, я завалю столь-

ких, скольких потребуется. Но я понял и другое: мужчина, повзрослев, никогда не опускается до пустой и никчёмной мести...

— Худо базаришь! — твякала свора, прикормленная Совенко

— Он по воровскому закону виноват!

— Сам себя короновал — косяк серьёзный... За такое режут у нас...

— Не сомневайся, молодой хозяин, его вину каждый у нас понимает...

— Виноват он, — оборвал галдёж Яков, — или не виноват «в воровском законе» — это уж вы сами, между собой, по-уточьи, решайте! Я же знаю другое: был я слеп. А теперь вижу. «Плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому»...

— Не грехи так, Яша! — взмолился Робин Бэд, имевший не только золотой, но ещё и вытутаированный на груди крест. — Неужели ты этого чмо со Спасителем равняешь?!

— Нет, конечно, и в мыслях не было! — утешил Шумлов. — Однако же чудо было, Роби! Мой отец — действительно волшебник...

— Кто бы спорил, братан, кто бы спорил...

— Ступай, Либа! — жестом освободил дурака Яков. — Но запомни: ещё раз мне попадётся на пути, так легко не уйдёшь...

...Когда сопливый и налитый всклень слезами Либа отполз в угол прощения и опущенности, лагерный бомонд разродился аплодисментами, как в театре. Яков понял, что прошёл ещё одно испытание этого квеста.

— Справедливый, как отец! — лязгала голосами лающая стая.

— Настоящий Хранитель!

— Хорошо базарил, как по сердцу в тапках...

— Ну, а вы думали-то?! — бегал взад-вперёд Робин Бэд. — Вы-то что думали? Мы с Яковым Витальевичем из одной миски баланду хлебали...

— Я сейчас думаю о другом! — с неожиданной властью отстранил дворнягу Шумлов. — Я многое переосмыслил, многое пересмотрел... Я многое упустил и запустил, но лучше взяться за дело поздно, чем никогда...

* * *

— Знаешь, что хуже всего в либерализме? — мрачно поинтересовался у посетителя Яков Витальевич, закуривая от ритуальной щепы отцовскую «Гвантанамеру». — Свобода слова — это его безнаказанность. Поэтому слова теряют и вес, и смысл. И человек сыплет словами с утра до вечера, совершенно разучившись за них отвечать, вообще забыв их значение! В монархическом обществе человек говорит только то, за что он готов пойти на плаху. А потому он говорит только самое важное и самое главное. И всякое слово в таком обществе имеет колоссальный вес. Я это всё к чему? — нехорошо ослабил Яков, и оскал его вдавил гнилозубого камуф-

ляжника в посетительское кресло, заставив вспотеть. — Я выделю ту сумму, которую ты просишь, но только после того, как мои люди проверят: действительно ли ты служил на Донбассе? Не волнуйся, это недолго: пара звонков из моей службы безопасности... И если выяснится, что ты мне сказки плетёшь... я отрублю тебе палец. Отец, конечно, отрубил бы голову, но я похлипче своего отца, и потому только палец. Ты готов к такому формату отношений? Если нет — тогда у тебя минута, чтобы навсегда покинуть мой кабинет...

И бледный человек в камуфляже, с липовыми орденами на груди поспешил исчезнуть...

— Я не узнаю тебя, Яша... — сослалась его Лиза.

— Зато я нынче с большим интересом узнаю сам себя... — шерился зверем Шумлов.

Теперь он не сомневался в кровавом ковролине и пряничной глазури мебельного глянца залы заседания совета директоров АО «БТ» — это уже не было для него чужим и посторонним. Странно, но после того, как усомнился, посчитал этот зал с округлёнными углами треугольным столом-«валентинкой» своей галлюцинацией, — он вдруг почувствовал своё родство и обладание им.

Шагая по томатной красноте здешнего ковролина, отражаясь призраком в зеркальности шлифовки колонных мраморных цилиндров, он уже знал, что его место — в той единственной точке необъятной столешницы, куда сходятся все линии коммуникаций и вся продуманная акустика помещения. И совершенно не удивился, что узкий круг собравшихся молчит. Ожидает его указаний. Распоряжений. Пожеланий. Но в этом нет ничего приятного. Восторга своим всевластием он не испытывал и теперь, заново родившись после «тюремной переэкзаменовки»...

Это для думающего человека очень страшно. А для верующего — ещё страшнее.

— Если школьник ошибётся в расчётах, — объяснил отец, благословляя, — то его поправит учитель. Но если в расчётах ошибётся генеральный конструктор, то его некому поправлять и катастрофа станет неизбежной. Помни, что твоё слово будет окончательным, а твоё решение — некуда обжаловать. Когда ты что-то решил — дело закрыто. Поделить власть тебе не с кем — делёжка равна дезертирству.

И потом коснулся более общих вопросов:

— Цивилизация — это машина по выделке благ. Она должна, во-первых, работать, а во-вторых, улучшаться. Этому всё в ней и подчинено. О людях в ней ничего не сказано. Известно только, что если машина выделки благ будет работать и совершенствоваться, то в итоге людям станет лучше. И только. «Когда-нибудь» и «может быть». А что будет с людьми в процессе — теория умалчивает. Если какой-то человек или целая их группа мешают этой машине — выбирать придётся машину.

Он помолчал, давая осознать всю трагическую тяжесть этого выбора механики над органикой.

— Или эти люди потащат тебя в «естество» каменного века, предлагая тебе волочиться за их животными желаниями... И если ты выберешь это — тогда это тоже будет твой выбор. Были в истории и такие Хранители, которые предпочитали людей производственной машине, а людям конечно же удобнее и веселее не работать, чем работать в поте лица...

Теперь Яков его понимал. Как ни странно — после встречи в Подпространстве с призраком «отца номинализма»: все сущности Бытия, возникшие из расщеплённого ноля, стремятся слиться обратно в ноль. И только тот, кто владеет ключом от Ничего, — может запереть им вход туда... Вызывая их раздражение, создавая ту «несвободу», которая — при всём брызжании стихоплётов — не даёт вернуться стихам в тот сор, из которого они «растут, не зная стыда». А что будет, если они вернутся туда, откуда вышли?

Вы думаете, это всё само по себе — и Гомер, и «Квантовая физика» на книжной полке, и сама книжная полка, которую, кстати сказать, в дизайне моды не предусматривает евроремонт? Вы думаете, огромные потоки людей без диспетчера идут, не смешиваясь и не разваливаясь, на работу и на учёбу, в театры и в библиотеки? Малейшее ослабление созидательного давления на людей — и дольки ноля, как ртутные шарики, начинают скатываться в исходное небытие. В то милое сердцу либерала «естество», где человек не имел ни государства, ни закона, ни электричества, ни индустрии, не умел ни читать, ни писать и думал исключительно о мгновениях, не «имея вместить» ничего разумного, доброго, вечного.

Смерть — монополистка. Контролируя почти всё пространство, она рвётся через преграды потоками космической энтропии даже в те немногие места, где её пока нет. Она пропитывает собой жизнь, и эту пропитку, хмельную от бродильных процессов распада умерших плодов, наивные называют «свободой». Ибо ум требует труда и насилия, хотя бы над собой, если не иного. Глупость же — нетребовательна и снисходительна. Все токи и колебания мозга она сводит в итоге к нулю, показывая в смерти выход из всех томлений духа...

* * *

Максим Львович Суханов нетерпеливо скучал сбоку от семейного разговора. Он давно уже освободил кабинет заместителя председателя совета директоров и теперь радостно предвкушал садоводческую свободу. Лучше поздно, чем никогда!

Ему вспоминался римский император Диоклетиан, которому тоже повезло в конце жизни удалиться от дел в глухую провинцию. Когда же к нему послали гонцов от сената, умоляя вернуться, Диоклетиан ответил: «Если бы знали, какую я на огороде капушту вырастил, вы б меня не отвлекали этой ерундой!»

Ещё не выращивший никакой капусты (кроме долларовой), Максим Львович тепло пожал руку сменщику и пожелал удачи. Сердечно, но лаконично,

чтобы не затягивать. И поспешил на выход, тогда как новый зампред — в зал заседаний директории.

— Ева Алеевна, — обратился он к Шаровой, — дело прошлое, и они могли убежать далеко, но всё же спрощу: сможете ли вы найти и доставить ко мне двух управляющих акционерного общества «Русский Анис», разворовавших его хозяйство?

— Вам достаточно только приказать, молодой хозяин! — изящно и с достоинством могущества поклонилась Ева Шарова. Меж губ мелькнул кончиком плётки раздвоенный змеиный язык. — Я найду их для вас даже из-под земли... И даже если они уже умерли... Не зря в моём хозяйстве лаборатории с автоклавами... Вернём и с того света...

— Спасибо! — пожал с чувством Шумлов её сухую горячую узкую ладонь. Затем сделал шаг к массивному громиле, Валериану Шарову:

— Валериан Петрович... Как их найдут, надо будет из них всё выбить. В бараний рог свернуть, но чтобы из любого офшора, от любой троюродной тётки перевели украденное обратно на наши счета...

— Вам достаточно только приказать, молодой хозяин! — преломил в покорном кивке бычью шею Валериан Шаров, прозванный Погоном. — Чтобы мне не вернули расхищенное — я таких не знал ещё...

Шумлов нашёл своё место в жизни.

— Рынок, — говорил он в гибкий микрофон со своего председательского места за треугольным столом совета директоров, по причине скругления углов напоминавшего формой и глянец сердечко-«валентинку», — оскорбителен для разума именно тем, чем он так удобен для управленца. Сиречь — естественностью своих регуляций. Он ничего никому не обещает, а потому никого ни в чём не может обмануть. Он с первых же дней говорит человеку, что тот выживет, только если выживет, а если не выживет — то некого винить, кроме самого себя. Рынок с равнодушием закройщика отрезает лишнего людей, сотня их или миллион, без формальностей, судов и следствий, долгих и сопливых сентиментальных обсуждений судьбы изгоев, столь пылких у социалистов и гуманистов. Всё, что не соответствует условиям среды, или избыточно ей, — исчезает мгновенно. И оттого всё оставшееся востребовано средой. Рынок не пытается никого перенаправлять, переучивать, искусственно выкармливать или держать под аппаратами искусственного выживания. В рыночной экономике некому жаловаться на судьбу — оттого недоразвита столь обильная при социализме слезливость и чувственность. И это, повторюсь, очень удобно для управленцев. Но всё же цель человеческого разума — победить это естество, преобразовать эту машину уничтожения в машину выживания!

* * *

Хорошая новость в том, что мы можем построить любой, сколь угодно прекрасный мир. Плохая в том,

**Генеральный
директор***Елена Петрова***Художественный
редактор***Татьяна Погудина***Цветоделение
и компьютерная
верстка***Александр Муравенко***Заведующая
распространением***Ирина Бродянская*

Отпечатано
в АО «Красная Звезда»
Россия, 125284, Москва,
Хорошёвское шоссе, 38
тел. +7(499) 762-63-02,
факс +7(495) 941-40-66
e-mail: kz@redstar.ru,
www.redstarprint.ru

Подписано в печать:
27.05.2021

Тираж 1650 экз.
Уч.-изд. л. 10,0.
Заказ № 3642-2021

Адрес редакции:

*Россия,
107078, Москва,
Новая Басманная, д. 19*

Телефоны*редакции:**8(499) 261-84-61**8(499) 261-49-29**отдела распространения:**8(499) 261-95-87***E-mail:***roman-gazeta-1927@yandex.ru***Сайт:***www.roman-gazeta-1927.ru*

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

Отклоненные рукописи
сохраняются в течение года.

что мы не знаем — нужно ли это людям, примут ли они такой дар? Человек, которого мы долго исчерпывали линейной материальностью, — на самом деле ещё и тёмные глубины подсознания, и плесневые подвалы подпространства. Создавая в своей фантазии кошмары, человек уравнивает свои кошмары с мечтой, подаёт отзывчивой Вселенной как свои чаяния. Кроме того, СТРОИТЕЛЬСТВО — не одновременно. Всякий понимает, что строительство — это долгий процесс, раздражающий всех и строительным мусором, и временными неудобствами, и тяготами строительных работ... Примет ли от нас человек архитектуру прекрасной новой реальности или откажется принимать, опасаясь грязи и безобразий стройплощадки?

* * *

К счастью, это решать не кому попало. Это решать только тому, кто владеет ключом от Ничего, способностью расщеплять исходный ноль на самые разные величины.

Лето—осень 2020 года, Уфа

ние и первое предупреждение американцам — всё так, но этого мало. Нужна кровь. Жертвоприношение. Дьявол притворяется Богом. Не этот, которому поручено учёного «подготовить», а тот, к которому завтра идти в Кремль. Между ним и его подручным уже всё решено.

Эта история хорошо известна: мало было испытать бомбу и облучить животных с целью будущих исследований. Облучить надо было и ничего не подозревавших людей, свидетелей испытания, — да, облаченных в костюмы спецзащиты, но абсолютно беззащитных. Они будут ликовать, глядя на забирающий пространство гриб, а потом умирать один за другим. Это повторится не раз и на следующих испытаниях в течение десятилетий...

Повторяю: коллизия известна, но Пряхин «всего лишь» описывает разговор Курчатова с Берией, который просто мог бы учёному приказать, но не делал этого, а вёл его, как бычка на верёвочке, вёл-вёл и подвёл... под монастырь.

Дьявол в деталях — в данном случае это звучит буквально. Пряхин исследует, по сути, и соблазнение, и грехопадение. Сюжет почти библейский, точно и словно бы отстранённо выписанный — до последнего штриха. В отстранённости этой нет никакого секрета, просто обе истории — это классические рассказы в отличие от преобладающих в книге эссе, в которых буквально выражен гоголевский посыл «писать через себя».

Пьесе «Снятие с поезда» — небольшой в общем-то по объёму текст — я читал весь день, буквально по абзацу, размышляя и листая время от времени булгаковский многострадальный опус «Батум», который остался за ку-

лисами изображённого, но так много определяет.

Эта пьеса для литературных гурманов. Стильная, изящная, дерзкая по решению, по выбору красок, словесной графике. Слова — то как брызги шампанского, то как пули. Сравнения хочется поддержать на кончике языка.

Реальная же история за кулисами изображённого была такая. Булгаков в очередной раз не печатали, и тут руководство МХАТа предложило написать пьесу к 60-летию Сталина. Это могло дать зелёный свет на публикацию «Мастера и Маргариты». Соблазн был велик, как и внутреннее сопротивление: пи-



сатель, назвавший себя в письме Сталину литературным волком, который никогда не изменит себе, с трудом пошёл на компромисс и так же трудно писал — целых три года, с 36-го по 39-й. Это пьеса о молодом Сталине. Первоначальное название было «Пастырь», потом — «Бессмертие», «Геракл», «Юность рулевого», «Будет Буря», «Командор» и наконец — «Батум». Не самая сильная вещь Мастера, но Булгаков прочёл пьесу партийной группе МХАТа, её приняли и со-

бирались ставить. Писатель получил аванс и отправился к морю с женой и группой театральных друзей. А в поезде его настигла телеграмма: постановка отменяется, ему надлежит возвращаться в Москву. Есть версия, что зарубив пьесу, вождь нанёс Булгакову смертельный удар.

Вот на каких событиях затеял Георгий Пряхин своё «Снятие с поезда», свой дерзкий прыжок в неизведанное. Это уже новый Пряхин, которого я не знал, потому сейчас с трудом подбираю слова.

...Псевдоводовильная матрица, скрывающая и раскрывающая в итоге трагический сюжет, который в свою очередь погружён в полумистическую колбу. Вроде бы победа (ура, пьесу приняли!), но победа Пиррова, и пир в поезде затевается словно в угаре — радость не в радость — затыкая неотступное сожаление и ожидание беды, краха, потому, наверное, что Мастер вступил в союз с Воландом (или Прокуратором?). Желание сбежать, освободиться, очиститься, забыться, убаюкаться в морской волне... И вернуться к себе прежнему. Но из всего вытекает, что такой побег обречён. Как и возвращение на круги своя.

Ещё — об ощущении Времени. Оно — тоже герой пьесы, всё окрашивает собой, отпечатывается на лицах, стекает по штыку трёхлинейки, клубится нарастающим страхом... И конечно, о подтексте. Когда-то эзопов язык был способом пройти цензора, уместить главные мысли между строк — сказать, не сказав. А Пряхин просто предлагает читателю шевелить извилинами. И снять с полки книгу одного из самых загадочных писателей.

Виктор Радзиевский

